
Эль Вейн
Кино из завтрашнего дня
18+

Эль Вейн

Кино из завтрашнего дня

https://litres.ru/74746443
SelfPub; 2026

Аннотация

Анастасия читает судьбы через вещи: возьмёт чашку — увидит, кто из неё пил, возьмёт фотографию — и чужая жизнь прокрутится перед ней, как кино. Двадцать лет она работает с этим даром тихо, по одному человеку, и почти не замечает, что за спиной у неё всегда стоит невидимый ангел-хранитель Элиас — с его шутками, намёками и «случайными» совпадениями.

А потом из прошлого возвращается Тень: бывший муж в худшем своём исполнении, сущность, которая питается чужими вариантами будущего и не выносит, когда человек всё-таки выбирает.

Анастасия едет по миру — Нью-Йорк, Варанаси, Куала-Лумпур, Стамбул, Флоренция, Мехико, — чтобы у шести мастеров научиться тому, чего не умеет сама: юмору, цвету, смелости, точности. И рядом с ней едет фотограф Марк, который всегда путешествовал один и вдруг согласился ехать вдвоём.

Философское фэнтези о том, как из чужих уроков собирают собственный язык, как перестают прятать то, что умеют, и как выясняется, что талант в правильных руках только растёт.

Содержание

Первый показ	5
Натура	29
Монтаж	56
Склейка	81
Голос за кадром	106
Правила монтажа	131
Конец ознакомительного фрагмента.	138

Эль Вейн

Кино из завтрашнего дня

Кино из завтрашнего дня

Первый показ

В шесть сорок дом начинал подавать признаки жизни: сначала вода в трубе на первом этаже, потом половица в коридоре, которая отзывалась на шаг с той стороны, где никто не ходил, потом скворцы в смородине.

Анастасия вставала под эти звуки, как под радиопередачу, которую слушаешь не для новостей, а для голоса. Ей было слегка за сорок, и она давно перестала считать годы: считать надо было утра, а утра она любила больше вечеров. Умылась холодной водой, собрала густые волосы на затылке тем движением, которое отработано до автоматизма и потому никогда не получается одинаково, надела халат, поверх халата — фартук, потому что кофе в турке ведёт себя как кофе в турке — буйно и быстро стремится наружу, и вышла на крыльцо.

Сад в этот час принадлежал не ей. Он принадлежал улиткам, которые переходили дорожку в неизвестном науке направлении, и соседу за забором, который запускал газонокосилку ровно в семь и потом полтора часа объяснял получившийся газон погоде. Дом утопал в зелени так, что почтальон дважды в год спрашивал, где здесь вход, а один курьер однажды вошёл в калитку соседей и полчаса пил у них чай, потому что не решился признаться, что ошибся адресом. Анастасия тогда сказала ему, что это лучший способ доставки, какой она видела.

Она не была ни высокой, ни истощенно худой, и в молодости это её огорчало, а с годами перестало: тело, которое тебя носит двадцать лет без поломок, заслуживает благодарности, а не критики. Лицо у неё было из тех, которые называют приятными и красивыми, когда не знают, что сказать точнее, и это была правда: с таким лицом удобно слушать людей. Люди тянутся на красивых людей с искренней улыбкой. Главными в ней были руки. Она их берегла, как берегут инструмент: крем в двух местах, полотенце всегда сухое, ногти коротко, потому что фломастер и бумага не любят, когда на них давят ногтем.

Она поставила турку, насыпала кофе, подождала пенку ровно столько, сколько нужно, и сняла с огня за секунду до того, как он собирался убежать. Первая чашка была служебной, вторая — человеческой. Анастасия выпила служебную стоя, глядя на список у холодильника. Список был написан её ровным, чуть наклонённым вправо почерком, и против одиннадцати часов стояло: «Сергей. Работа?» — с тем вопросительным знаком, который она ставила не из неуверенности, а из уважения к клиенту: у человека всегда есть свой вопрос, и не факт, что он совпадает с тем, что записан.

— Ты сегодня рано, — сказала она в сторону окна.

— Я сегодня и не ложился, — отозвался Элиас с подоконника. Он сидел там, свесив одну ногу в сад, и вид у него был тот, с каким люди смотрят утренние новости, то есть без особого участия. — У тебя в саду опять кто-то переставлял ка-

мень.

— Это улитки.

— Улитки не переставляют. Улитки переползают. Камень лежит в трёх сантиметрах от того места, где лежал вчера, и лежит с достоинством.

— Значит, сосед.

— Сосед в это время спит, я проверял. — Элиас зевнул так, что стало видно, как в саду качнулась ветка. — Ладно, это ерунда. Ты лучше скажи: ты вчера вечером дорисовала тот узор или опять бросила на середине?

Анастасия не ответила, потому что ответ был «опять бросила на середине», а в такие минуты лучше молчать и пить кофе.

С домом у неё были отношения, которые посторонним казались странными, а ей — единственно возможными. Дом стоял на своём месте сто лет, и за это время в нём сменилось столько людей, что перечислять их пришлось бы с бумажкой. Каждая вещь в нём помнила своё. Часы в гостиной отставали на семь минут, и Анастасия не переводила их: дом привык, а привычка в доме — это не поломка, а биография. Ковёр в кабинете был протёрт у одного угла, потому что там сорок лет назад стояло кресло, и человек, который в нём сидел, каждый вечер вставал именно так, боком. За картинами она охотилась на распродажах, в переходах, у старух в подъездах, и все они были работы неизвестных художников, потому что известные ей были не по карману, а неизвестные —

интереснее. Картина, висевшая справа от окна, изображала поле и человека, который на него смотрел с той тоской, с какой смотрят на поезд, ушедший без них.

Дети выросли и разъехались по колледжам, и их комнаты стояли закрытыми, кроме одной двери, которую Анастасия оставляла приоткрытой: не из сентиментальности, а потому что там лучше ходил воздух. Она варила кофе, принимала клиентов, ходила по дому и разговаривала с существом, которого никто не видел, и в целом считала свою жизнь устроенной. Так считают люди, у которых всё в порядке ровно до того момента, когда в порядке обнаруживается щель.

Существо, которого никто не видел, звали Элиас, и появлялся он не так, как появляются люди. Люди входят, здороваются, топчутся в прихожей. Элиас сначала давал о себе знать теплом: в комнате становилось на градус теплее, чем позволяли окна, и появлялся запах, который Анастасия так и не научилась называть точно, — что-то среднее между апельсиновой коркой и бумагой, в которую заворачивают подарки. Потом в воздухе слаживался контур, будто художник наметил фигуру и ещё не решил, чем её заливать. И только потом на месте контура оказывался он: мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами, в тёмном пиджаке, всегда застёгнутом на одну пуговицу, босиком, потому что обувь он считал формальностью для тех, кому есть куда идти. Возраст у него был тот, про который говорят «неопределённый»: тридцать и пятьдесят одновременно, смотря с какой стороны смотреть

и чем он в этот момент занят.

Он был высок, сух и подвижен той подвижностью, которую замечаешь не сразу, а потом уже не можешь развидеть: он успевал переместиться из кресла на подоконник, пока Анастасия наливала воду в турку. Свет он не отражал и не отбрасывал — скорее, собирал, как собирает утреннее солнце невымытое окно. Крылья у него, как у любого благонадежного ангела, были, но он их не показывал, держал сложенными где-то за спиной, как держат в прихожей зонт, чтобы не мешал проходить. Один раз, в самом начале их знакомства, он всё-таки расправил их, и Анастасия потом полдня не могла найти в доме ни одной тени: все предметы стояли без них, будто выключенные.

Характер у него был служебный, но исполнение — артистическое. По документам он числился ангелом-хранителем, по факту работал конферансье: подкидывал знакомства так, что они выглядели как чистая случайность, устраивал «совпадения», от которых у Анастасии потом неделю чесались ладони, и шутил так, что она понимала шутку к вечеру, а иногда и к следующей среде. Прямых советов он не давал. На прямой вопрос отвечал так: «Ты можешь поступить как угодно, я всего лишь ангел», — и это было правдой, только правдой с подтекстом, потому что после такой фразы почему-то очень хотелось поступить одним определённым образом. Он не мог сделать за неё выбор, но мог поставить рядом с выбором стул и включить свет.

В четверть девятого она открыла кабинет, проверила, лежат ли на месте фломастеры, и села за стол с утренней страницей скетчбука. Скетчбук был её служебным документом: плотная бумага, твёрдая обложка, на форзаце — год и имя, будто он мог потеряться и вернуться к хозяйке по надписи. Она рисовала по утрам не для клиентов, а для себя: линии, круги, скругления. Разминка перед сеансом, как у пианиста гаммы. Сегодня линии ложились слишком послушно. Обычно на третьей фигуре бумага начинала сопротивляться, фломастер цеплялся за волокно, и приходилось вести линию дважды, чтобы она стала такой, какой задумана. Сегодня всё выходило с первого раза: ровно, сухо, будто чертил не человек, а чертёжник с линейкой.

— Слишком гладко, — сказала Анастасия и закрыла скетчбук.

— Ты всегда так говоришь, когда всё идёт хорошо, — заметил Элиас.

— Потому что когда всё идёт гладко, значит, кто-то уже выровнял.

Без пяти одиннадцать она поставила на поднос две чашки, повернула ручку к гостю, поправила салфетку и пошла открывать.

Сеанс начинался так, как начинались все сеансы: с кофе, поставленного на поднос ручкой к гостю, и с вопроса: «С чего начнём?»

Сергей пришёл в одиннадцать ноль-ноль, снял пиджак и

повесил его на спинку стула так тщательно, будто пиджак был ещё одним сотрудником, которого следовало усадить, и только потом сел сам. Сорок два года, начальник отдела, две недели плохого сна, на левом запястье след от ремешка, который он, судя по всему, снимал только в душе.

— В общем, вопрос такой, — сказал он и положил на стол лист. — Я его сформулировал дома, чтобы не растекаться.

На листе, распечатанном на принтере, стояло: «Целесообразность сохранения текущего места работы в связи с изменением конъюнктуры и личной мотивации». Ниже, синей ручкой, приписка: «Можно ли уходить?»

Анастасия прочитала дважды и на второй раз почувствовала что-то похожее на уважение. Люди приходили к ней с формулировками и хуже: «разобраться в себе», «принять судьбоносное решение», «хочу, чтобы всё стало хорошо и больше не болело». Здесь, по крайней мере, было понятно, что человек принёс на сеанс не только деньги, но и работу мысли.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда рисуем.

Она выложила перед ним лист плотной бумаги и коробку фломастеров, в которой не хватало двух цветов: чёрный и зелёный уходили быстрее всех. Сергей посмотрел на бумагу, как смотрят на акт приёма-передачи.

— И что рисовать?

— То же, что написали. Только фигурами рукой по бумаге.

Он рисовал добросовестно. Прямоугольник, на нём второй прямоугольник поменьше, от него линия вбок, от линии ещё одна, и всё это увенчано кружком с двумя точками. Схема организации, в которой прямоугольники обозначали людей, а кружок, вероятно, самого Сергея на совещании.

— Не бойтесь крупных линий, — сказала Анастасия. — И не оставляйте углов. Угол — это место, где человек застревает. Скругляйте.

Он скруглил. Получилось дерево, потом облако, потом нечто среднее, похожее на декорацию к детскому спектаклю про космос. Анастасия смотрела, как он работает, и отмечала про себя: нажим ровный, цвет тёмный, стирать не пытается, дышит через раз.

— Теперь сюда, — она развернула к нему второй лист, — нарисуйте вокруг желаемое. Что должно быть внутри, если уходить.

И вот тут, на втором листе, Сергей впервые задумался по-настоящему. Он держал фломастер над бумагой секунд десять, а потом провёл линию так, что фломастер щёлкнул. Анастасия взяла оба листа и положила рядом, внахлёст, чтобы линии соприкоснулись. Она делала это сотни раз. Между двумя рисунками должно было начаться обычное: смутное тепло подушечек пальцев, тихое шевеление, из которого потом складывается картинка — неяркая, послушная, как старый телевизор на кухне.

На этот раз тепло ударило в ладони сразу, будто она взя-

лась за горячую кружку.

— Ага, — сказала Анастасия.

На бумаге вспыхнули кадры. Три сразу.

Левый: тот самый офис, но прямоугольники на схеме проросли мхом. Мох шёл по ковролину мягкими волнами, забирался на ножки стульев, свисал с принтера бородой. Люди сидели в нём по колено, работали, отвечали на письма, а мох всё рос, рос с той ровной неостановимостью, с какой растёт всё, чего никто не трогает.

Правый: кухня. Небольшая, с клеёнчатой скатертью в мелкий цветочек и окном на улицу, где шёл дождь. На плите стояла кастрюля, из неё шёл пар, и по этому пару было видно, как медленно ходит воздух. Кто-то сидел за столом спиной к кадру. Дышалось в этом куске плёнки так хорошо, что Анастасия поймала себя на желании отодвинуть средний кадр и посмотреть, что там варят.

Средний же был сценой. Зал человек на двести, стулья расставлены рядами, и все лица обращены к невысокому подиуму, на котором стоял Сергей с микрофоном. Лица были напряжённые. Не враждебные, хуже: напряжённые, ждущие, что он наконец начнёт говорить. Он стоял и не начинал.

Кадры шли одновременно, как окна на ноутбуке, и вели себя при этом наглее любой техники. Левый подтягивался вверх, отбирая у соседей по сантиметру квадратному; правый отодвигался и мягко упирался; средний дёргался вперёд, будто кто-то в кабинете оператора всё время нажимал не ту

клавишу. Потом левый кадр — не Сергей в кадре, а сам кадр, вместе с его мохнатой рамкой, — подмигнул.

Складка на верхней кромке опустилась и поднялась.

Анастасия отдернула руки. Листы остались лежать на столе, а кадры на них ещё секунду доживали свою жизнь, как гаснет экран телефона: сначала картинка, потом пятно, потом ничего.

В кабинете стало слышно, как идёт вода в трубе на первом этаже и как Сергей делает вдох, к которому подготовился заранее.

— Это было кино, — сообщил он тоном человека, который фиксирует факт. — Только почему их три?

— Потому что вариантов три, — сказала Анастасия хрипло. — Обычно они показываются по одному. По очереди. В порядке поступления.

— А этот мне подмигнул. — Сергей смотрел на свои руки, будто они его подвели. — Средний, из зала, тоже, по-моему, собирался, но не успел.

— Средним был не зал, — сказала Анастасия. — Средним были вы.

Сергей подумал.

— Логично, — сказал он. — Тогда у меня встречное предложение: предупреждайте, пожалуйста, если кадры снова будут флиртовать. Я человек семейный, а тут всё-таки рабочий вопрос.

— Учту, — сказала Анастасия, у которой в горле до сих

пор стояло то самое тепло, будто она выпила чай, не дождавшись, пока он остынет.

Дальше надо было работать. Она достала из ящика карточку с тремя клетками и заполнила их своим ровным, чуть наклонённым вправо почерком: «Офис. Мох» — в первой. «Кухня. Дождь» — во второй. «Зал. Речь» — в третьей. Потом пододвинула карточку Сергею.

— Что выбираете?

— У меня вопрос, — сказал он. — Мох — это насколько далеко зашло?

— Насколько зашло — не скажу, кадр показывает не сроки, а направление. Мох растёт там, где ничего не трогают руками. Могу сказать точнее: если ничего не менять, через какое-то время вы будете сидеть в нём по пояс и считать, что так и надо, потому что все вокруг тоже сидят.

Сергей медленно кивнул. У него было лицо человека, который получил от подрядчика смету и теперь в ней разбирается.

— Кухня, — сказал он наконец. — А что кухня? Кто за столом сидел?

— Кадр показал комнату и погоду. Кто там сидит, вы сами решите. — Она помолчала. — Дождь — это хорошо, это не помеха. Дождь в такой кухне идёт снаружи, а не внутри.

— А третий? — Он не смотрел ей в глаза. — Там я стоял и молчал.

— Там вы стояли и молчали, — подтвердила Анастасия.

— Но кадр не про молчание. Кадр про то, что зал ждал.

Сергей ушёл в двенадцать минут первого, в пиджаке, застёгнутом на среднюю кнопку, с запиской, где было три пункта и одно домашнее задание: нарисовать кухню отдельно, в деталях, крупно. В прихожей он обернулся, сказал «спасибо» очень серьёзно, как говорят перед тем, как написать отзыв, и вышел на улицу, где дом утопал в зелени и кто-то очень зря поставил в этом месте бордюр.

Анастасия закрыла за ним дверь, прислонилась к косяку и наконец выдохнула.

— Ну, — сказала она в пустую прихожую, — комментарии будут?

Элиас проявился не полностью: сначала в воздухе сладился силуэт, потом тёплое пятно, потом стал виден он сам, сидящий на кушетке в кабинете в позе человека, который пришёл на передачу про ремонт и ждёт, когда же покажут его квартиру.

— Комментарий один, — сказал он. — Твой дар перешёл на артхаус. Три экрана, свободный монтаж, рамка подмигивает. Не хватает только титров и пары сцен, от которых у зрителя отваливается челюсть.

— Мне не смешно.

— Тебе и не должно быть смешно, я юмором занимаюсь, попрошу не лезть на мою территорию. — Он вытянул ноги. — Тебе должно быть интересно, что он теперь умеет. И какой ответ в твоей заумной метафоре он найдет.

Анастасия прошла в кабинет и села на пол, чего обычно не делала: ей нужно было что-то, что твёрже кресла. Кадры путались. Это было хуже, чем мох в офисе. Двадцать лет её дар работал как исправная аппаратура в руках одного оператора: она брала вещь, вещь разворачивалась плёнкой, плёнка шла ровно, и она всегда знала, где начало и чем кончать просмотр. Сегодня плёнка решила, что будет снимать сама.

— Он подмигнул, — сказала она. — Элиас, кадр подмигнул. Это не фигура речи, это движение. В моём кабинете. По моей бумаге.

— И он же не ушёл. — Элиас наклонил голову. — Он подождал, пока ты отдернёшь руки, и свернулся. Это не паника, это вежливость. Я бы на твоём месте радовался: он и вёл себя повежливее половины твоих клиентов.

— Клиенты мне не подмигивают. Они хотят ответ на вопрос.

— Клиенты много чего не делают, — согласился Элиас с удовольствием. — Например, не растут мхом.

Дальше Анастасия сделала то, что делала всегда, когда сюжет уходил из-под контроля: достала скетчбук. Она рисовала в нём угловатые, аккуратные формы, соединяла их плавными линиями, скругляла, потом снова добавляла угол и снова скругляла. Скетчбук был её служебным инструментом. На двенадцатой странице дышать стало легче.

В дверь постучали.

Стук был деликатный, двойной. Анастасия посмотрела на

часы: час. Записанных клиентов на час не было.

— Это не ко мне, — сказала она.

— Это к дому, — отозвался Элиас, который уже стоял у окна и смотрел вниз с видом зрителя в первом ряду.

Марк стоял у калитки с рюкзаком на одном плече и фотоаппаратом на другом, и с высоты второго этажа было видно, что он старается не наступать на те плитки, между которыми находится что-то живое.

— Здравствуйте, — сказал он, когда Анастасия спустилась. — Марк. Мы виделись в прошлом месяце, вы разрешили мне снять фасад и рассказали про косяк в гостиной, помните?

Она помнила. Он пришёл тогда с диктофоном, весь в репейнике, и сказал, что пишет книгу о городских преданиях, а её дом в одну из этих книг попал раньше, чем она в него вселилась. Она тогда напоила его кофе и забыла, что кадры при нём почти не шевельнулись, что было странно и что она тогда же решила считать случайностью.

— Помню. Прошли за здание, повернули не туда.

— Я там живу с тех пор мысленно, — сказал Марк. — У меня к вам дело, и оно, к сожалению, необычное. — Он достал из внутреннего кармана сложенный лист с карандашной схемой. — Про ваш дом я собирал три легенды и все три не сходятся между собой. Одна говорит, что дом переехал: стоял на соседней улице, а в тридцать седьмом году оказался здесь и никого не спросил. Вторая, что вход в него открыва-

ется только тому, кто не ищет вход. Третья — самая интересная. В ней сказано, что с улицы у дома семь окон, а со двора девять, и что людей, которые замечают это дважды, дом у себя оставляет надолго.

Он поднял глаза и посмотрел на фасад с тем спокойным интересом, с каким берут пробу на экспертизу.

— Я бы хотел спросить у вас как у жильца: сколько окон? — сказал он. — И заодно — правда ли, что на втором этаже слышно, как внизу к ним кто-то ходит, если внизу никого нет?

— Семь, — сказала Анастасия. — Со двора я не считала.

— Все не считают, — кивнул Марк. — Это, судя по легенде, и есть механизм.

— Со двора девять, — сказала Анастасия. — Но туда я хожу только за шлангом, так что не сильно обращала внимание.

— Значит, я второй человек, который считает, — сказал Марк с удовольствием, как будто ему вручили инструмент. — Тогда я, пожалуй, зайду с разрешения. И не с пустыми руками: у меня в рюкзаке печенье, которое я купил по дороге, а оно имеет свойство портиться ровно в тот день, когда его наконец несут в гости.

— Пойдёмте в сад, — сказала Анастасия. — Только не по газону, там шланг. Он лежит поперёк уже третью неделю и каждый раз делает вид, что его переложили.

Сад за домом был не сад, а обстоятельство: яблоня, две

вишни, куст сирени, отцветшей ещё в июне, и смородина, которая росла так густо, что в ней можно было спрятать велосипед. Стол стоял под яблоней, на столе лежала клеёнка в клетку, а клеёнка помнила ещё те времена, когда за этим столом собирались люди, которых теперь развезло по городам и часовым поясам. Анастасия накрыла быстро: кофе в турке, печенье Марка на тарелке, печенье своё, из жестянки, потому что гость гостем, а запас карман не тянет.

— Вы будете смеяться, — сказала она, разливая, — но этот стол я купила на распродаже имущества одной библиотеки. Он стоял в читальном зале, за ним сорок лет никто не разговаривал. Иногда мне кажется, что он до сих пор вздрагивает, когда за ним начинают спорить.

— А спорят часто?

— Я одна. Я спорю с ангелом и иногда с соседом.

Она сказала это и посмотрела на Марка поверх чашки: так проверяют лёд ногой, прежде чем ступить. Он кивнул, отломил печенье и ничего не спросил.

— Легенду про окна я вам не отдам даром, — сказала Анастасия. — Я, знаете ли, тоже кое-что собираю. Только не предания, а истории вещей. Вон та картина, справа от окна, досталась мне от женщины, которая купила её в переходе у человека, утверждавшего, что это подлинник. Человек врал, но картина мне нравится больше, чем иные подлинники. Пейзаж, нарисованный человеком, который очень хотел уехать из деревни, но так и не уехал: вы бы удивились, сколь-

ко в этой работе тоски и как мало коров.

— Почему вы её не продали, когда предлагали за неё деньги?

— А мне не предлагают. — Анастасия улыбнулась. — Я коллекционирую картины неизвестных художников. Это единственная коллекция, которая отказывается расти в цене. Зато — обратите внимание — они все висят ровно так, как висели бы у себя дома.

Она отставила чашку и сложила руки на клеёнке.

— Ладно. Вы пришли за окнами, а спросите о другом, я вижу. Вижу, что вас интересует, как я здесь живу одна и не мучают ли меня привидения.

— Я как раз собирался спросить, — сказал Марк.

— Тогда сэкономим время. — Она подумала, с чего начать, и начала не с начала, потому что начало было скучным. — Я была замужем за магом. Не в том смысле, в каком так говорят про обаятельного человека с хорошей памятью на комплименты. В прямом: он умел двигать варианты. Не всё подряд, не как бог, но умел пододвинуть один, отодвинуть другой, и в результате мир устраивался так, что ему было удобно. Знаете, как это выглядит со стороны? Как будто вам всё время везёт с людьми. Соседи оказываются милыми, начальник входит в положение, врач принимает без записи. Пятнадцать лет я думала, что мне повезло с мужем. Еще пять, что не повезло.

Она налила ещё по половине чашки.

— Потом выяснилось, что везло ему, а я при этом стояла в сторонке и держала его пальто. Мы развелись. Вернее, развелась я, а он не заметил, потому что был занят: у него в тот момент складывалась новая жизнь, и она складывалась из моих же вещей. Часть я потом находила у знакомых. Не вещи. Вещи — ерунда. Варианты. Он раздавал мои «а что, если» направо и налево, как раздают визитки на конференции.

— И он остался фантомной болью, — сказал Марк. Не спросил: сказал.

Анастасия посмотрела на него внимательно.

— Остался. Я называю его Тень. Не «моя тень», упаси бог, и не «тень прошлого», я не люблю эти выражения, они красивые и потому неточные. Тень — потому что он не отбрасывается, а отбирается. Иногда он приходит. Не в гости, не постучав. Просто в кадре, который я смотрю, темнеет край — будто кто-то поставил на плёнку палец. Или в моём рисунке появляется линия, которой я не вела. Она тонкая и идёт как-то слишком уверенно.

— И давно это началось?

— Года три назад. Сначала я решила, что это усталость и возраст, а потом он заговорил со мной голосом бывшего мужа, и я перестала искать другие объяснения.

Она вздохнула и посмотрела вверх, в яблоню, где на нижней ветке висело одно позднее яблоко, красное с одного бока и зелёное с другого.

— Дети выросли и разъехались по колледжам. Пишут мало, звонят по воскресеньям, и я до сих пор не понимаю, это нормально или просто нормально для нас. Дом большой. Я сдаю в нём два этажа? Нет, не сдаю, я шучу. Я принимаю клиентов в кабинете, и до обеда у меня расписано, а после обеда я варю кофе и разговариваю с существом, которого никто не видит. Наверное, вам сейчас следует сказать, что вы такого не ожидали.

Марк отломил ещё печенье, посмотрел на него и положил обратно.

— Я собираю истории одиннадцать лет, — сказал он. — И я вам скажу как специалист: это лучшая история, которую я слышал за последние два года. Она лучше всех трёх легенд про ваш дом, вместе взятых. Только в ней есть один изъян.

— Какой?

— Вы рассказываете её так, будто извиняетесь.

— Это профессиональная деформация, — сказала Анастасия. — Женщина средних лет, которая двадцать лет объясняет людям, что они не виноваты, начинает объяснять это и себе. За вредность производства не доплачивают.

— А вы не пробовали рассказывать её как человек, который сделал выбор и теперь имеет право на последствия?

— Вы сейчас говорите как мой ангел. Только он это формулирует короче.

— Он у вас, судя по всему, экономит на словах и тратит на эффекты.

Анастасия засмеялась, и от этого смеха в саду стало как-то иначе: у яблони, что ли, листья повернулись. Она налила ещё кофе, хотя турка уже была пустой, и поставила её обратно на стол с видом человека, который сделал всё, что мог.

— Теперь ваша очередь. Я вам рассказала про мага и Тень, а вы мне — про окна и мох. Так не бывает, чтобы человек одиннадцать лет собирал чужие истории и не имел своей.

Марк поставил чашку.

— Моя история скучная, — сказал он. — Она состоит из должностей.

— Скучных историй не бывает. Бывают сокращённые.

— Хорошо. — Он вытер руки салфеткой, будто собирался работать. — Я был историком. Не в том смысле, в каком теперь, когда я человек, который приходит к незнакомым людям и спрашивает, сколько у них окон. Я преподавал. В московском университете, кафедра истории повседневности, двенадцать лет, вполне приличная карьера, если считать карьерой то, что у тебя есть ключ от своего пыльного кабинета, полного книг.

— И что вы там рассказывали?

— Как люди жили. Не кто с кем воевал, а чем топили, что ели, какие гвозди забивали и почему именно эти. Меня всегда интересовала не дата, а температура. Сколько градусов было в комнате у человека, который подписывал бумаги, из-за которых потом всё переменилось. — Он чуть усмехнулся. — На третьем курсе студенты меня за это любили, на чет-

вёртом начинали спрашивать, где им это пригодится на собеседовании.

— И вы им отвечали?

— Отвечал, что пригодится. Врал, но в правильном направлении.

Он посмотрел на дом, на его окна, на зелень, которая подступала к стене так плотно, что становилось непонятно, где кончается дом и начинается сад.

— В Москву я приехал на конференцию. Двадцать минут доклада, потом кофе, потом ужин с людьми, с которыми мы полгода переписывались по работе и не знали друг друга лично. И вот я вышел из этого ужина на улицу, дошёл до переулка и увидел дом. Обычный дом, старый, с заклеенным окном на втором этаже. В нём жили люди, и он знал о них всё, а я не знал ничего. Понимаете, о чём я? Двенадцать лет я рассказывал студентам, как жили люди, и ни разу не спросил, как живут люди. Я говорил о повседневности, а повседневности не касался.

Он постучал пальцем по клеёнке.

— Я вернулся на кафедру, дочитал семестр, сдал дела и уехал. Мне говорили, что это кризис среднего возраста, и я не спорил, потому что формально это было правдой. Начал ходить и записывать. Сначала по Москве: дворы, лестницы, домовые книги, легенды про подъезды. Потом пошло дальше: провинция, Балканы, две зимы в Тбилиси, полгода в Лиссабоне. Я собираю предания и мистификации. То

есть легенды, которые оказались правдой, и правду, которая оказалась легендой. Разница между ними, как вы понимаете, только в том, кто первым поставил на бумаге свою подпись.

— И что вы с ними делаете?

— Пишу книги. Две вышли, третья идёт медленнее, чем мне хотелось бы, потому что у меня нет концовки. — Он выпрямился. — Но я заговорил вас, а у меня была другая цель. Смотрите.

Он достал из рюкзака блокнот, раскрыл его на схеме маршрута: несколько кривых, стянутых в узел, и три отметки в форме галочек.

— Вот здесь, — он ткнул в узел, — двор, в котором перестал действовать мобильный телефон. Уже полгода. Проверял трижды. Вот здесь — лестница, на которой слышно, что говорят в соседнем доме, и говорят при этом совершенно нормальные вещи, кухонные, но в четырёх часах утра. А вот тут — я оставил пустую галочку. Туда я не дошёл, потому что там начинается район, в котором местные жители советуют не ходить, но советуют как-то неохотно.

— Пойдемте в субботу, — сказал он и посмотрел на неё прямо, без заигрывания, за которым можно спрятаться. — Один маршрут. Три часа. Ни одного памятника архитектуры, если не считать таковыми три обычных дома, в которых живут люди, никогда не слышавшие слова «исторический облик».

— В субботу у меня сеанс до двух.

— Значит, после двух.

— После двух я варю кофе и рефлексирую над проведенными сеансами..

— Значит, в три, и кофе я беру на себя. В этом районе есть один человек, который варит его так, что я перестал спорить с людьми по утрам. — Марк помолчал. — Он, правда, потом стал спорить чуть больше, но это уже о характере, а не о кофе.

Анастасия посмотрела на схему, на его руку, лежащую на клеёнке, на яблоню, на тень от яблони, которая лежала в этот час поперёк стола, хотя полчаса назад лежала от стола под углом. Ей очень захотелось узнать, почему дрожало слово «повседневность», когда он его произносил.

— Согласна, — сказала она. — В три. И я возьму с собой скетчбук.

— Обязательно возьмите. У меня есть подозрение, что вы будете первым человеком за одиннадцать лет, кто увидит на этой улице то, что я вижу там не первый год. И непременно мы должны перейти на «ты», потому что уже слишком много знаем друг о друге.

Он ушёл около половины шестого, оставив печенье, половину блокнота, прочитанного из-за забора, и непривычно ровно разговаривать с пустым садом, чего она давно не делала.

А вечером, когда она разбирала скетчбук, чтобы убрать его до понедельника, на последней странице обнаружилась

тонкая чёрная линия. Она шла от её рисунка — прозрачного, даже по её меркам аккуратного — и вёл эту линию кто-то другой. Уверенно. Как ведут человека, который согласился идти. На первом конце линии Анастасия стояла, а второй заканчивался у обреза страницы, и там линия не останавливалась. У неё просто кончалось место.

Натура

В субботу дом просыпался иначе. Вода в трубе на первом этаже шла с ленцой, половица в коридоре молчала, потому что отзывалась она только на служебные шаги, а скворцы в смородине выходных не признавали и работали, как работники вредного производства.

Анастасия выпила служебную чашку стоя и посмотрела на список у холодильника. У одиннадцати стояло имя. У трёх не стояло ничего, и пустая строка требовала к себе отношения: в её практике пустое место в расписании означало, что день намерен распорядиться собой сам. Она взяла ручку и приписала в пустоту: «Марк. Город». Подумала и дописала: «Скетчбук».

— Ты пишешь для себя или для отчётности? — спросил Элиас с подоконника.

Он сидел, свесив одну ногу в сад, и лени в его позе было ровно столько, сколько может позволить себе существо, которое не спит вовсе, но уважает чужие привычки.

— Для отчётности. Если не запишу, забуду, что собиралась.

— Не забудешь. Ты хочешь, чтобы у тебя было чем заняться до трёх.

— До трёх у меня два дела: сеанс и выбор куртки.

— Куртка не дело, куртка — позиция, — сказал Элиас. —

Надень ту, в которой удобно рисовать. Та, в которой удобно выглядеть, всё равно проиграет человеку с фотоаппаратом.

Выбор стоял между двумя. В одной куртке было удобно сидеть на корточках и носить в кармане коробку фломастеров, во второй было удобно производить впечатление, но производить его в субботу было не перед кем, кроме соседа за забором. Анастасия надела первую и добавила к ней шарф, потому что сентябрь обещал ветер, а ветер в сентябре — это аванс, который октябрь потом отбирает с процентами.

В одиннадцать пришла женщина, которая полтора года собиралась менять кухню и за это время успела поменять работу, мужа и дважды мнение о плите. Анастасия слушала её сорок минут и всё это время думала о том, как устроена жизнь: человек приходит с вопросом про мебель, а говорит про то, что ему не с кем есть суп. Рисунки получились послушные, почти скучные. Кадры показали кухню со столом у окна, кадры показали кухню без стола, и в первом было больше света, а во втором больше места, и женщина выбрала свет, о чём потом ещё минут десять объясняла, почему это несерьёзно.

В начале второго она ушла, унося с собой рисунок, три пункта на карточке и то лёгкое раздражение, с каким люди уходят от собственных решений, принятых слишком быстро.

Анастасия вымыла чашки и вытерла стол. Делать это после клиента было ритуалом: стол должен был встречать следующего гостя человеком без памяти о предыдущем.

Скетчбук лежал там, где она его оставила, — на полке, корешком к стене, как ставят книгу, которую не хотят обсуждать. Она достала его, пролистала до последней страницы и посмотрела на тонкую чёрную линию. За ночь линия не двинулась. Она шла от её рисунка к обрезу и там не заканчивалась, а просто упиралась в край бумаги.

— Она всё ещё здесь, — сказала Анастасия.

— Она никуда не уходила, — отозвался Элиас, который уже стоял у полки и разглядывал страницу с видом эксперта, приглашённого оценить подлинность. — Ты вчера дважды перевернула лист и один раз подышала на него. Я думал, ты попробуешь стереть.

— Я не стираю. Стирают ошибки, а это не ошибка.

— Это хуже, — согласился он. — Это чужой почерк в твоей тетради.

Анастасия закрыла скетчбук и положила его в сумку. Линия не мешала ей есть, спать и варить кофе, и в этом была своя неприятность: вещи, которые не мешают жить, имеют обыкновение устраиваться надолго.

В три ноль-ноль у калитки раздался двойной деликатный стук. Марк стоял с рюкзаком на одном плече, с фотоаппаратом на другом и с двумя стаканами кофе в картонном подстаканнике.

— Кофе, — сказал он и вручил ей стакан, — из места, где я перестал спорить по утрам.

— Как это работает?

— Как любое чудо. Пробуешь и понимаешь, что тебе нечего возразить. — Он подождал, пока она сделает глоток, и только потом отпил сам. — Заодно предлагаю перейти на «ты» официально, потому что в прошлый раз я это предложил, а потом весь вечер сомневался, не поторопился ли.

— Ты не поторопился. — Кофе был густой и правда с чем-то пряным. — Но с кофе ты схитрил: так варят не для того, чтобы снять утренние споры, а для того, чтобы человек запомнил место и захотел вернуться.

— Я фотограф, а не святой, — сказал Марк. — Мне нужны точки, к которым тянет.

Маршрут он нарисовал ей на обороте конверта: кривая, три галочки, третья пустая.

— Первая точка — двор, где не работает мобильный телефон. Вторая — лестница, где по ночам слышно чужой кухонный разговор. Третья — та, где начинается район, о котором местные говорят неохотно. Три часа, если не считать остановок на кофе, а остановки на кофе я в расчёт не беру, потому что кофе — это не мера времени, а мера отношения.

— А если мы найдём на этой улице что-то, чего ты не искал?

— Тогда я запишу это как находку, — сказал Марк. — У меня есть рубрика, в ней уже семнадцать пунктов. Восемнадцатый будет моим любимым.

Они пошли дворами. Сентябрь в этом году держался за тепло с упрямством человека, который знает, что его попро-

сят уйти, но надеется доработать до пятницы. У подъездов сидели на скамейках женщины с одинаковыми пакетами, у одного окна висело одеяло, выбитое так давно, что оно уже было памятником самому себе.

— Смотри, — сказал Марк и остановился перед приоткрытой дверью стеклянной галереи, — вот здесь я два года объясняю себе, почему мне это нравится.

— Какой этаж?

— Первый, — сказал он с удовольствием. — Никого не видно, никто не жалуется, и хочется, чтобы так работал весь город.

Он поднял камеру, поймал что-то в рамку и опустил её, так и не нажав.

— Не то? — спросила Анастасия.

— Не то, — сказал Марк. — Когда не то, я не нажимаю. Когда то, я и сам не помню, что нажал.

Первый двор встретил их аркой с осыпающейся цифрой. Анастасия не поверила на слово и достала телефон.

— Ноль, — сказала она. — Даже не «нет сети», а просто ноль.

— Полгода, — сказал Марк, спрятав руки в карманы. — Я проверял трижды: зимой, в апреле и теперь. В закутке справа, у мусорных баков, сеть появляется.

— И какая у тебя версия?

— У меня их четыре. Первая — техническая: где-то в стене усиливающая железобетонная конструкция. Вторая —

историческая: здесь до реконструкции стояла подстанция, а сети города не так быстро забывают прошлое. Третья — дворовая: жильцы говорят, что в этом месте «мобильники приходят в старомодное состояние». — Он помолчал. — Четвёртая самая неприятная: не работает не связь, а мы.

— Четвёртая мне нравится больше, — сказала Анастасия. — В ней есть занятие для нас.

— В ней есть только подозрение, а подозрение я умею производить, не выходя из дома. Мне нужны факты, желательно с адресом.

Она сделала вид, что разглядывает водосточную трубу, хотя труба была обыкновенная и разглядывать в ней было нечего. Ладони у неё уже нагревались. Это начиналось всегда одинаково, с тепла в подушечках пальцев, будто она взяла чашку, которую держали в руках до неё. Обычно за теплом шло шевеление, за шевелением картинка, и вся эта очередь выстраивалась сама, без её участия и без её разрешения.

Она положила ладонь на стену у арки, там, где кирпич был выщерблен и в выщербине лежал песок.

Двор открылся сразу.

Тот же двор, но больше, просторнее, потому что машин в нём ещё не держали и стоял один «москвич» у дальнего подъезда. Женщина в платке выбивала ковёр на перекладине, и в том, как она это делала, была не злость, а порядок: пыль летела ровными облаками, и по облакам было видно ветер. У подъезда сидел мальчик с ключом на шее и что-то

рассказывал второму мальчику, а тот смеялся, запрокинув голову. В окне первого этажа мужчина в майке ставил чайник и зевал так, что было понятно, который час. Ещё дальше, за тополем, две женщины передавали друг другу сумку, и та, что брала, сначала качала головой, а потом всё-таки брала.

Все они разговаривали. Ни одного звука не доходило.

Анастасия стояла в своём дворе, в субботнем сентябре, и слушала, как в настоящем времени воркуют голуби и как где-то за домом проезжает машина. Кадр был полон голосов, и эти голоса были совершенно недоступны, как бывают недоступны люди за толстым стеклом: видно, что говорят, и не слышно, о чём.

Она отняла руку.

— Ага, — сказал Марк.

— Что «ага»?

— Ты так смотришь на стену, будто ждёшь, что она тебе ответит.

— Я жду, что она нагреется. — Анастасия вытерла ладонь о куртку. — Тут стена в тени, а на ощупь тёплая.

Марк подошёл, приложил руку рядом с тем местом, где была её ладонь, и подержал секунд десять.

— Нагрелась, — согласился он.

— Ты что, серьёзно?

— Нет. Стена холодная. Но я не люблю, когда человек говорит одно, а делает другое, поэтому проверил. — Он достал блокнот и записал. — «Стена в тени. Тёплая по словам мест-

ной жительницы».

— Ты записываешь даже то, что я сказала в оправдание.

— Конечно. Оправдания лучше фактов показывают, что человеку важно. Факт я потом проверю, а вот зачем ты мне это сказала, я сам не придумаю.

Она посмотрела на него с осторожностью: он либо очень хорошо играл в невозмутимого, либо был им на самом деле, и это было почти одно и то же.

— Пошли, — сказала она. — У тебя три часа, а мы ещё на первой точке.

— Смотри, — сказал Марк, когда они вышли из-под арки. — Вот эта цифра. Её обновляют каждые семь лет, потому что живёт она ровно столько, а потом осыпается. Я разговаривал с человеком, который её обновляет: он считает, что цифра на доме должна быть заметной, но не наглой. У него есть целая теория, и, если бы я записывал такие вещи в книгу, у меня бы вышло три тома про одни номера.

— Почему не вышло?

— Потому что потом я печатаю, а читатель просит привидений и всего потустороннего.

Второй адрес был через два двора и один переулок. Он стоял не по порядку и это знал. Дом был из тех, что называют приличными: лепнина по карнизу, широкие подоконники на лестнице, лифт с деревянными панелями, который поднимался медленно и с достоинством, будто ему за это платили.

— Четвёртый этаж, — сказал Марк. — Днём делать здесь

нечего, к сожалению. Днём это просто лестница.

— А ночью?

— Ночью я поднимался сюда четыре раза, и три из четырёх я слышал, как на пятом этаже кто-то разговаривает на кухне. — Он сел на подоконник между вторым и третьим и вытянул ноги. — Разговор самый обычный. Про то, что суп вчера был вкусный, а сегодня лучше сварить гречку. Про то, что учительница опять вызывает в школу. Про то, что тёща приедет в четверг, и хорошо, что в четверг, потому что в среду я не могу.

— А квартира на пятом существует?

— Вот в этом и дело. — Марк поднял глаза. — На пятом три квартиры. Я звонил в две. В одной живёт человек, который в эти часы спит, потому что встаёт в пять, а вторая сдаётся, и там никто не живёт с прошлой весны. В третью я не звонил, потому что в третьей живёт женщина, которая однажды сказала мне: «Молодой человек, вы тут уже который раз, скажите, наконец, чего вы хотите. Может, вы маньяк?». Я сказал, что хочу узнать, кто разговаривает у неё на кухне ночью. Она сказала, что не разговаривает ни с кем, и закрыла дверь. Потом открыла и добавила: «Идите лучше отсюда по добру, по здорову».

Анастасия слушала его и думала о том, что люди собирают истории так же, как она собирает картины: не за цену, а за то, что в них что-то живёт. Марк при этом ещё и не врал: если не работает, он не нажимал. Он и в эту легенду не тыкал

пальцем, а ходил вокруг, как ходят вокруг вещи, которую дали посмотреть на минуту.

Она положила руку на перила, тяжёлые, холодные, с потёртостью на самом сгибе, где их берут чаще всего.

И услышала кухню.

Небольшая, с бордовой скатертью, лампа под абажуром, на плите кастрюля. Женщина в махровом халате сидела напротив мужчины, который был мятой рубашке и стриг голову так, будто делал это раз в месяц и всегда по настроению. Они разговаривали негромко и без спешки, как разговаривают только в четыре часа утра, когда за окном темно и весь город занят тем, что ему снится. Женщина говорила про гречку, мужчина про тёщу, и оба знали, что обсуждают не гречку. В какой-то момент женщина засмеялась, но не громко, а коротко, в сторону, чтобы не разбудить ребёнка. Мужчина встал, подошёл к плите и помешал в кастрюле.

— Анастасия.

Она вздрогнула и сняла руку с перил.

Марк стоял рядом и смотрел на неё сверху вниз, с подоконника, очень спокойно.

— Ты ушла, — сказал он.

— Куда?

— Не знаю. У тебя было лицо, как у человека, который слушает радио, но не собирается говорить никому, на какой волне.

В подъезде стало отчётливо слышно, как наверху кто-то

катает по полу тяжёлую вещь.

— Здесь холодно, — сказала Анастасия.

— Здесь и правда холодно, — согласился Марк и впервые за всё время записывать не стал.

На улице было теплее, чем в подъезде, и от этой перемены у неё заломило виски. Так бывает, когда выходишь из кино на свет: сначала ничего не видно, потом видно слишком много.

— Ты как? — спросил Марк, не поворачивая головы.

— Как человек, который вышел из подъезда с мигренью.

— Это я и сам вижу. Спрашиваю про другое.

— Про что другое?

— Про то, как ты смотришь на стены. — Он поправил ремень фотоаппарата. — Я одиннадцать лет хожу по городам с людьми, которые смотрят на стены. Одни ищут на них трещины, другие ищут, где сфотографироваться. Ты смотришь так, будто стены тебе что-то должны.

Анастасия подумала, что если сейчас соврать грубо, он это заметит, а если соврать тонко, заметит ещё быстрее.

— Мне все что-то должны, — сказала она. — Я женщина средних лет, у меня накопилось.

— Справедливо, — сказал Марк. — Я тоже хожу по городу с претензией. Только моя претензия оформлена как книга, и это придаёт ей приличный вид.

Третья точка была дальше, чем две первые, и Марк вёл к ней не короткой дорогой, а той, на которой больше по пути.

По дороге он показывал то, что не попадёт ни в одну книгу и потому, вероятно, и было настоящим: водосток, приделанный к стене под углом, от которого у любого строителя сделалось бы плохо с сердцем; дверь в один кирпич, заложенную так, что шов был виден только в дождь; тротуар, где плитка шла ёлочкой, потому что человек, который её клал, устал и решил жить, как умеет.

— Местные говорят, в тот район не ходи, — сообщил он, свернув в переулок. — Говорят неохотно. Это важно: когда неохотно, это не запрет, а ревность.

— Ревность к чему?

— К тому, что там живут они, а не вы. — Он перешёл на другую сторону улицы, обошёл лужу, которая стояла здесь, судя по краю, недели две. — Запрещают охотно только то, что можно запретить. А то, что нельзя, запрещают с сожалением.

Район начинался с площади, у которой, судя по всему, было название, но никто им не пользовался. На площади стоял палисадник с четырьмя тополями, фонтан без воды и три дома, поставленных так, что каждый смотрел в сторону. В самом большом, с заклеенным окном на третьем этаже, помещался то ли склад, то ли мастерская; на стеклянной двери висела бумажка с телефоном, написанным от руки, и по бумажке было видно, что звонить по нему не нужно. Второй дом был жилой и жил этим гордо: на подоконнике первого этажа стояли три банки с цветами, и все три были живые.

Третий дом зарос диким виноградом до второго этажа, и виноград был уже не украшением, а хозяином.

Анастасия села на парапет палисадника, достала скетчбук и фломастер.

— О, — сказал Марк. — Работаем?

— Три часа без бумаги — это много. Я начну, а ты снимай, потом покажешь.

— Договорились. Только предупреждаю: я уже три раза тебя сфотографировал, пока ты этого не видела, и один раз получилось хорошо.

Она приложила фломастер к листу.

Обычно рисунок начинался с сопротивления: бумага цеплялась, линия шла дважды, и в этом двойном ходе было что-то честное, как в почерке. Здесь бумага легла под фломастером так, будто ждала его. Анастасия провела первую дугу по краю листа, вторую внутри, третью обвела вокруг площади, потом добавила угол и скруглила его.

И город ответил.

Сначала это было очень тихо, почти на границе слуха: в палисаднике качнулся тополь, хотя ветра не было, и листья пошли волной не сверху вниз, а с одного края к другому, как идёт линия, когда её ведут. Потом у заклеенного окна на третьем этаже отклеился угол бумаги и поднялся. Потом тень от угла большого дома, лежавшая на асфальте, шевельнулась.

Тени не шевелятся. Тени удлиняются и укорачиваются, они ползут за солнцем с той медлительностью, которая и на-

зывается в жизни движением, но они не шевелятся так, как шевельнулась эта: от угла отделился кусок и двинулся по асфальту коротким, отчётливым путём, повторив тот изгиб, который Анастасия только что нарисовала.

Она замерла с фломастером в воздухе.

Тень остановилась. Постояла. И медленно вернулась на место, как возвращается на место человек, которого застали за чужим письменным столом.

— Вот, — сказал Марк очень спокойно.

Он уже стоял на колене, держа камеру у самой земли, и снимал. Анастасия слышала три щелчка подряд, потом паузу, потом ещё два.

— Ты видел, — сказала она. Это был не вопрос.

— Я видел, как что-то произошло в переулке. — Он поднялся, отряхнул колено и посмотрел на неё с той доброжелательной невозмутимостью, которая в нём, кажется, была врождённой. — А что именно произошло, я скажу тебе после того, как посмотрю на снимке. У глаза есть привычка объяснять по ходу дела, а у плёнки её нет.

— У тебя не плёнка.

— У меня карта памяти, но я говорю «плёнка», потому что если я скажу «карта памяти», ты не поверишь, что я серьёзен. — Он подошёл и протянул ей камеру. — Смотри.

На маленьком экране был переулок, асфальт, серый угол дома и тень. Тень была на месте, но в ней имелось утолщение, которого не было в жизни: от угла дома к водосточной

трубе шёл тёмный язык, кончавшийся завитком, и завиток этот был очень похож на скругление, которое она рисовала.

— Это наша тень, — сказала Анастасия.

— Это отличный кадр, — сказал Марк. — Восемнадцатый пункт. Рубрика «Городские странности», раздел «Тени, которые не ждут солнца».

— И всё? Ты не спросишь, почему тень шевельнулась?

— Спрошу. Но не сейчас. — Он повесил камеру на плечо. — Сейчас я хочу понять, что я снял, а ты — дорисовать, потому что у тебя за это время фломастер в руке три раза менял положение, и это называется зуд.

Она посмотрела на лист. Площадь на рисунке вышла не такой, как на самом деле: дома стояли немного иначе, палисадник был больше, а переулок, которого с этого места почти не видно, шёл наискосок через весь лист и упирался в угол.

— Я этого не рисовала, — сказала она.

— А кто?

— Город.

Марк кивнул так, будто она сообщила ему про погоду.

— Тогда понятно, почему он так долго не хотел, чтобы мы сюда пришли, — сказал он. — Он ждал, когда придёт кто-то с фломастером.

Анастасия смотрела на свой рисунок и чувствовала, как в груди у неё устраивается новое знание, неудобное, как камень в ботинке. Все эти годы она считала, что работает с людьми, а город был фоном: декорацией, в которой располо-

жены клиенты, маршруты, аптеки и места, где варят кофе. Сейчас декорация подавала голос. Каждый камень, к которому она прикасалась, что-то помнил, и помнил настолько, что был готов говорить с любым, у кого есть время слушать. Просто большинство людей приходило на площадь за хлебом, и площадь вежливо молчала.

— Ты не замёрзла? — спросил Марк.

— Я в порядке. — Она закрыла скетчбук. — Но у меня к тебе предложение: давай заканчивать маршрут и идти за кофе и чем-то съестным, потому что я хочу проверить одну вещь, и для неё мне нужно сидеть в теплом тихом месте.

— Проверишь при мне?

— Проверю при тебе, — сказала Анастасия, которая уже понимала, что при нём проверять не будет.

Кофейня оказалась маленькой, на три стола и одну витрину, за стеклом которой лежали пирожные, выглядевшие так, будто их сделали люди, знающие цену своему времени. За стойкой стояла женщина в фартуке поверх платья и разговаривала с кем-то невидимым в подсобке. Говорила она негромко и по-деловому, и по интонациям было понятно, что разговор идёт о человеке, который опять не пришёл.

— Здесь всё, — сказал Марк, поставив на стол поднос. — Кофе, две воды, сырники, потому что после третьей точки я всегда хочу сырников. У них есть ещё пирог, но пирог я не рекомендую: его делают для вида.

— Для какого вида?

— Для витрины. Он красивый и стоит на витрине уже, я думаю, третий день.

Они сели у стены. Анастасия положила скетчбук на подоконник, поближе к свету, и развернула его на рисунке площади. На бумаге переулок по-прежнему шёл наискосок и упирался в угол дома, и от этого простого обстоятельства у неё портилось настроение.

— Можно вопрос? — сказала она.

— У тебя уже был один, в переулке, и я на него ответил.

— Этот другой. — Она подождала, пока он прожуёт. — Зачем ты это делаешь? Ходишь по городам, записываешь, сколько у домов окон, разговариваешь с людьми, которые советуют не ходить в свой район.

— Затем, что мне это легче, чем всё остальное. — Марк отставил чашку. — Я вам уже говорил, что двенадцать лет рассказывал студентам про повседневность и ни разу её не потрогал. Так вот, в этом городе каждый второй дом — повседневность, которую кто-то не трогал тридцать лет. Лестница, на которой ночью разговаривают. Двор без связи. Дверь, заложенная так, что шов видно только в дождь. Человек, который не хочет, чтобы про его район знали, потому что ему там хорошо. — Он обвёл рукой кофейню. — Вот я сижу и думаю: если я не запишу, что эта женщина варит кофе так, что я перестал спорить, то через двадцать лет кто-нибудь напишет, что в этом доме всегда была аптека, и все кивнут, потому что им не с чем сверить.

— Это очень хорошее объяснение, — сказала Анастасия. — Но ты им пользуешься как отговоркой.

— Почему?

— Потому что ни одно из твоих объяснений не отвечает на вопрос «почему ты». Люди не ходят одиннадцать лет по чужим лестницам из уважения к повседневности. Они ходят потому, что дома у них что-то не так.

Марк посмотрел на неё внимательно, потом медленно кивнул.

— Это ты на работе так? — спросил он.

— Как?

— Задаёшь человеку вопрос, после которого у него остаётся один путь: ответить правду или встать и уйти.

— Нет, — сказала Анастасия. — На работе я задаю три вопроса, и третий всегда мягче первого. Это для клиентов. На друзей у меня терпения хватает только на два.

Он засмеялся негромко и полез в рюкзак за блокнотом. Блокнот он положил рядом с чашкой, раскрыл на чистой странице и стал писать, шевеля губами, как шевелят губами люди, которые проговаривают фразу, прежде чем её записать.

Из-под блокадных страниц, из середины, торчал угол фотографии. Белый, глянцевый, с заломами, острый, как угол конверта.

Анастасия посмотрела на него и отвела глаза. Потом посмотрела снова.

Любопытство у неё было устроено как радиоприёмник в чужой квартире: оно принимало, даже когда её об этом не просили. За двадцать лет она научилась не брать чужое только потому, что рука уже протянулась, но не научилась не хотеть.

— Что это у тебя там? — спросила она.

Марк проследил за её взглядом, вытащил фотографию и вытер её о рукав.

— Это я. — Он положил снимок на стол и подвинул к ней. — Восемь лет. Двор, в котором я вырос, и я, снимаюсь для истории. Мне тогда дали фотоаппарат в руки первый раз в жизни, и я, судя по лицу, был о нём невысокого мнения.

Анастасия взяла фотографию.

Кадр открылся сразу, как открывался всегда, без разгона, и на этот раз не в ладонях у неё стало тепло, а в самой фотографии что-то шевельнулось и пошло.

Кухня. Небольшая, в половину этой кофейни. На столе клеёнка в мелкий цветочек, в которой она уже узнавала вещь раньше, чем себя ловила на узнавании. На столе стоит торт, домашний, с грецкими орехами сверху, и в нём восемь свечей, из которых одна уже погасла и дымит. За столом сидит мальчик в рубашке, которая ему велика, и смотрит в объектив с выражением человека, которого оторвали от важного дела. За кадром кто-то говорит: «Марк, не жмурься», и голос у этого кого-то низкий и добрый, и мальчик, услышав его, всё-таки жмурится.

За окном зима. Настоящая, с синим снегом и наледью на стекле, и в этой зиме видно, что она не первого дня: сугробы лежат плотно, и от них идёт то ровное, серое свечение, которое бывает в январе, когда день прибавился, но не решил, что с этим делать.

Анастасия отняла руку и перевернула фотографию.

На обороте было написано шариковой ручкой, выцветшей до цвета чая: «Марк. 9 лет. 9.01».

Она посчитала быстро, как считают люди, у которых астрология находится в одном отделе с медициной: девятое января. Козерог. Земля.

— Ты январь, — сказала она.

— Девятого. — Марк забрал фотографию и убрал её в блокнот. — Мать всегда говорила, что если бы у неё спросили, она бы выбрала лето, но у неё не спросили. К тому же, как она говорит, у январских детей одно преимущество: их дни рождения никогда не совпадают с дачами.

— Девятое января, — повторила Анастасия и вдруг почувствовала себя очень глупо.

Сорок два года жизни, двадцать лет практики, и всё это время она считала, что астрология — это то, чем люди занимаются, когда им нечем заняться. Она сама была Рыбами, родилась в середине марта, и мать говорила, что это самый непостоянный знак, что, конечно, было неправдой, потому что непостоянство не имеет знака. Но Рыбы и Козерог стояли через один знак, в секстиле, и это тот редкий случай, ко-

гда люди не спорят по пустякам, а спорят по существу.

— Ты чего? — спросил Марк.

— Ничего. — Она отпила кофе и поставила чашку очень ровно. — У меня к тебе странный вопрос. Ты в это веришь?

— Во что?

— В знаки. В то, что я Рыбы, а ты Козерог, и что из этого что-то следует.

Марк подумал с той обстоятельностью, с какой он, вероятно, подходил и к преданиям, и к блокадным страницам.

— Я верю в три вещи, — сказал он наконец. — В то, что люди повторяют сценарии своих родителей. В то, что за домом надо смотреть чаще, чем за календарём. И в то, что если я трижды подряд встретил на улице одного и того же незнакомого человека, значит, кто-то из нас двоих ошибся маршрутом. Знаки, на мой взгляд, — это третий случай: маршрут ошибся, а мы идём.

— Это не ответ.

— Это лучший ответ, который у меня есть на вопросы такого рода. — Он улыбнулся. — Но ты спросила не для того, чтобы узнать, во что я верю. Ты спросила, потому что уже что-то себе объяснила.

Анастасия не ответила. Она смотрела на его руки: он держал чашку двумя пальцами за край, а не за ручку, и это было единственное, что она в нём видела не книжное, а живое.

За окном площадь дышала, как обычно дышат площади в начале вечера: людьми, которые шли мимо, не поднимая го-

ловы, и одним голубем, который ходил по парапету с видом человека, оформляющего документы. Анастасия посмотрела на голубя и подумала: вот человек, с которым можно три часа идти по городу и ни разу не пожалеть о потраченном времени. А потом подумала: вот человек, который родился девятого января, и это значит, что вода встретилась с землёй, и это значит, что он ей не случайно послан.

Про то, кто именно послал, она подумала чуть позже и предпочла не думать дальше.

Марк проводил её до калитки и там остановился, как останавливаются перед тем местом, куда вход без спроса.

— Дальше ваша зелень, — сказал он. — В неё я без приглашения не заходил и не начну.

— Ты был в этой зелени неделю назад и съел половину моего печенья.

— Я был в этой зелени по делу, с легендами. А сейчас я без легендов, — сказал Марк и сам услышал, как это прозвучало, потому что поправился: — Без легенд. Одна из моих работ требует, чтобы я иногда заходил без повода, но у меня пока не было повода проверять, как это делается.

— Проверь в следующую субботу, — сказала Анастасия. — В три. Буду ждать без легенд.

Марк молчал секунду, и за эту секунду у него на лице прошло столько, сколько у других проходит за разговор.

— Снимок я принесу, — сказал он. — Мне надо посмотреть, что там на самом деле. И у меня есть ещё один марш-

рут, про склады: там, где теперь автосервис, когда-то было хранилище, и в нём по ночам что-то отзывается на голос. Я этот маршрут два года не начинал, потому что мне нужен был человек, который умеет слушать стены.

— За два года можно было найти человека.

— За два года можно было найти много людей, — сказал Марк. — Не нашел. До субботы.

Он поднял руку, поправил ремень фотоаппарата и ушёл, не оборачиваясь, той походкой, которой уходят люди, уверенные, что их будут смотреть в спину.

Дома Анастасия первым делом вымыла руки, поставила турку и выпила третью чашку, которую никогда себе не разрешала, потому что третья чашка — это уже не кофе, а разговор с ним.

— Я знаю, что ты здесь, — сказала она в потолок кухни. — Ты весь день молчал. Это подозрительно.

Тепло прибавилось сразу, будто кто-то повернул ручку на радиаторе. Потом появился запах, апельсиновый и бумажный, потом в воздухе наметился контур, и Элиас собрался на подоконнике в позе человека, которому только что рассказали анекдот и он решает, смеяться сейчас или выдержать паузу.

— Я не молчал, — сказал он. — Я сопровождал. Это разные вещи: когда сопровождаешь, говорить считается дурным тоном, как на выставке.

— Ты был на выставке.

— Я был на очень длинной прогулке, где меня никто не пригласил предъявить билет. — Он вытянул ноги. — Ну? Рассказывай. У тебя лицо человека, который вернулся из поездки, куда его занесло силой, и теперь будет думать об этом три ночи.

Анастасия рассказала. Про двор, в котором не работала связь, потому что в нём не работал звук. Про лестницу, на которой ночью говорят про гречку, а днём не говорят ни о чём. Про тень, которая повторила изгиб её линии. Про рисунок, на котором переулок пошёл наискосок, хотя она его не рисовала.

Элиас слушал, не перебивая, что само по себе было редкой формой любезности.

— И ты считаешь, что город с тобой разговаривает, — сказал он, когда она закончила.

— А ты считаешь, что нет?

— Я считаю, что города разговаривают со всеми, у кого есть чем слушать. — Он соскользнул с подоконника и прошёлся по кухне, заглядывая в турку с таким видом, будто надеялся найти в ней что-нибудь покрепче. — Ты двадцать лет смотрела на людей. Люди — это удобно: они приходят с вопросами, они садятся на стул, они говорят «здравствуйте». А город ничего не говорит, пока к нему не приложишь ладонь. Зато у него память лучше, чем у любого твоего клиента, потому что он ничего не забывает и при этом ни на что не жалуется.

— Почему сейчас?

— Потому что ты наконец сняла палец с кнопки «пуск». — Элиас остановился. — Раньше ты включала камеру и ждала, когда тебе покажут кино. Сегодня ты приложила руку к стене, не зная, что получишь. Это называется любопытство, дорогая, и я двадцать лет ждал, когда ты начнёшь им пользоваться не только для клиентов.

Анастасия подумала, что в его словах есть то, чего она не хочет слышать, и то, что она уже знает.

— Я хочу спросить про Марка, — сказала она.

— Спрашивай. Я обожаю эту тему.

— Ты его подстроил.

— Я? — Элиас приложил руку к тому месту, где у людей находится сердце, и изобразил оскорбление так добросовестно, что в саду за окном качнулась ветка. — Я бы обиделся, но мне лестно: чтобы ты считала меня автором такой многоходовки, я должен был работать месяца три без выходных.

— Легенды, окна, печенье, пересчитанные окна, кофе. Ты это умеешь.

— Умею, — согласился он. — И поэтому говорю тебе как специалист: это не моя работа. Мои совпадения выглядят иначе. Я подкидываю людей в аэропортах, на выставках, в очередях, где люди стоят и не видят друг друга, потому что у них нет повода посмотреть. А тут человек сам пришёл к твоему дому с тремя легендами, сам пересчитал окна, сам назначил субботу. Если бы это был мой трюк, я бы не оста-

вил на виду столько деталей.

— Значит, ты его не приглашал.

— Я его не приглашал, — сказал Элиас, и в его голосе вдруг стало меньше представления. — Но и случайной эту встречу я бы не назвал. В случайности я верю, у меня на них половина службы построена. А это не случайность. Это совпадение, у которого есть заказчик.

— Кто?

— Не знаю. — Он сказал это спокойно и без всякой театральности, и от этого стало неуютно. — Но я пригляжусь. У совпадений, как и у почерка, есть наклон. Если наклон мне не понравится, я тебе скажу.

Он исчез раньше, чем Анастасия успела ответить: тепло из комнаты ушло, запах рассеялся, а на подоконнике осталась лежать салфетка, сложенная в форме, которую он, судя по всему, считал самолётиком.

Анастасия вымыла турку, выключила свет в кухне и уже в коридоре, перед сном, достала скетчбук, чтобы убрать его в сумку.

Линия была на месте.

Она шла от её рисунка к обрезу страницы, как и вечером в пятницу, но теперь продолжалась на обороте. На той стороне листа было чистое место, потому что там никогда ничего не рисовали, и на этом чистом месте линия заканчивалась коротким изгибом, будто её вели не от рисунка наружу, а снаружи к рисунку.

Анастасия поставила скетчбук на полку, корешком к стене, и ушла спать, оставив в доме свет в коридоре: не потому, что боялась, а потому что где-то в доме всегда должен гореть свет, если в доме ждут гостей.

Монтаж

В следующую субботу Марк пришёл не с двумя стаканами кофе, а с папкой.

— Производственная необходимость, — сказал он вместо приветствия и положил папку на стол под яблоней. — Я неделю смотрел на этот снимок, и у меня появились вопросы, которые я не хочу задавать себе в одиночестве.

— А себе ты их задавал?

— Себе я их задавал, но себе я отвечаю одно и то же, и это меня настораживает. — Он развязал тесёмки. — Смотри.

В папке лежали распечатки, штук двадцать, и на каждой был один и тот же переулок, снятый с одного и того же места. Анастасия взяла верхний лист.

Асфальт, серый угол дома, тень. Тень лежала как положено, если не считать утолщения у водосточной трубы: от угла к трубе шёл тёмный язык, а на конце у него заворачивался завиток. Завиток был очень аккуратный, почти каллиграфический, и в нём чувствовалась та же уверенность, с какой ведутся линии на хороших чертежах.

— Это та, — сказала она.

— Это первая, — сказал Марк. — А теперь третья.

Он выложил рядом другой лист. Переулок тот же, свет тот же, но тень была другая: она уходила от угла не к трубе, а вдоль стены, и кончалась коротким ровным срезом, будто

кто-то отрезал ей конец ножницами.

— Ты снимал в разные дни, — сказала Анастасия. — Солнце стояло иначе.

— Я снимал в разные дни, — согласился Марк. — И солнце стояло иначе. Я проверил по времени съёмки: тут одиннадцать минут разницы. За одиннадцать минут тень не успевает сходить с ума.

Она перевернула лист. На обороте его рукой было написано: «18-б. Проверить угол падения. Проверить трубу. Проверить себя».

— Проверить себя, — прочитала она вслух.

— Я честный человек. — Марк сел напротив. — За неделю я успел подумать, что у меня испортилась камера, что я неправильно помню, что я схожу с ума, что я вижу то, чего не было. Потом я подумал, что всё это время рядом со мной стоял человек, который смотрел на стену, будто ждал, что она ответит, и что камера тут ни при чём.

Анастасия положила распечатку на стол и накрыла её ладонью, будто прихлопнула.

— Ты сейчас одно очень простое дело делаешь, — сказала она. — Ты его делаешь красиво, но оно простое. Ты хочешь, чтобы я сказала, что вижу больше, чем говорю.

— Хочу, — сказал Марк без запинки. — Я одиннадцать лет собираю истории и шесть из них не могу объяснить. Я не ищу человека, который мне всё объяснит. Я ищу человека, у которого такой же список.

— А если я скажу, что у меня нет списка?

— Тогда я допишу в свой: «человек врёт, но при этом у него тёплые стены».

Анастасия засмеялась, и это вышло само собой. Ладонь на распечатке нагрелась, но она не стала смотреть: при нём смотреть было нельзя, а уходить от темы она умела.

— Пошли, — сказала она. — Пока ты не начал проверять меня по времени съёмки.

Склад стоял в конце улицы, за площадью, где в прошлую субботу тень повторила её линию. Теперь Анастасия узнавала этот район с той неприятной ясностью, с какой узнают человека, которому однажды задолжали.

Дом был старый, в два этажа, с высокими воротами под арку и с вывеской «Автосервис» на жестяном щите, покрашенном в синий цвет, который на солнце выцвел до серого. Ворота стояли приоткрытыми, и за ними была темнота, в которой угадывались ямы, стойки и длинный верстак под лампой. Из темноты пахло маслом, ржавчиной и мокрой ветошью, и ещё чем-то, что Анастасия не смогла назвать: не запахом, а холодом, который не имел направления.

— Вот сюда, — сказал Марк. — Легенда номер три. Вернее, номер восемнадцать-б, я его перенумеровал после прошлой субботы.

— Рассказывай.

Они шли вдоль стены, и он рассказывал, ровно, как рассказывают то, что рассказывали сто раз.

— До революции здесь было хранилище, винный склад, но это скучная часть: вино кончилось раньше, чем история началась. Главное случилось потом, когда в тридцатых тут сделали продовольственную базу. Был кладовщик, по фамилии, говорят, Кузьмин, и про него местные рассказывают одно и то же, только называют его по-разному. Кузьмин был человек скучный, но у него была особенность: он разговаривал с помещением. Не с людьми, а с помещением. Уходя вечером, говорил вслух: «Ну, я пошёл, а ты тут смотри», и запирал. И вот когда его не стало, то есть когда он умер, помещение продолжало отвечать. Не каждому, не всегда. Отвечает на голос: человек что-нибудь скажет вслух, а из темноты возвращается его же фраза, только с другой интонацией. Словно кто-то повторяет за тобой, проверяя, правильно ли расслышал.

— А потом здесь сделали автосервис.

— А потом здесь сделали автосервис. И механики говорят, что отвечать стало тише, но не прекратилось. — Марк остановился у ворот и посмотрел на Анастасию с той внимательной неподвижностью, которую она начинала узнавать: он смотрел не на человека, а на человека и его реакцию одновременно. — Я сюда приходил трижды. Один раз ничего. Один раз показалось. Третий раз я стоял вот здесь, у ворот, сказал «ну, я пошёл», и мне из темноты ответили.

— Что ответили?

— «Ну, ты пошёл», — сказал Марк. — С той же интона-

цией, но чуть ближе к воротам, чем я. Я, знаешь, в этот момент не испугался. Я разозлился, потому что у меня в диктофоне в этот момент записывалась беседа с механиком про замену масла, и весь эффект пошёл в фон.

Анастасия смотрела на приоткрытые ворота. Внутри не было никого: две машины на подъёмниках, одна из них без капота, верстак, лампа, и под лампой длинная тень от чего-то, что висело на стене.

— Я хочу посмотреть, — сказала она.

— На что?

— На помещение.

Марк взял сумку с фотоаппаратом и вошёл первым, без разговоров, как человек, который решил эту формальность давно.

Внутри было холодно, и холод шёл снизу, из ям. Анастасия положила руку на металлическую стойку ворот.

Кадр начался сразу, и на этот раз не был похож на кино. Он был похож на съёмку, на которой трясутся руки: изображение дёргалось по краям, будто в комнате открыли дверь, всё в ней пошло мелкой рябью. Внутри этого дрожания стояли полки, стеллажи, ящики, ящики, ящики, и по ним шли откуда-то сбоку длинные полосы света. В одном месте на полу лежало пальто, в другом стоял бидон, а в третьем у стены сидел человек в ватнике и держал на коленях какую-то книгу, и он не двигался и не смотрел в сторону кадра, будто его здесь не было.

Кадр дрожал ровно, размеренно, как дрожит воздух над горячим асфальтом.

— Ну? — сказал Марк.

— Сквозняк, — сказала Анастасия.

— Сквозняк есть, я сам чувствую. Ворота задувают.

— Не такой, — сказала она и убрала руку.

Сквозняк был обычный, ворота действительно стояли приоткрытыми, и всякий, кто сюда входил, должен был чувствовать одно и то же. Но кадр дрожал не от движения воздуха. Он дрожал от того, что в нём происходило, как дребезжит старый экран, когда в него долго смотрят с очень близкого расстояния.

— Сквозняк, — повторил Марк с удовольствием, будто она подарила ему идею. — Хорошо. Проверим сквозняк.

Он встал посреди помещения, между двумя подъёмниками, сунул руки в карманы и сказал громко, в темноту, очень буднично:

— Ну, я пошёл.

Анастасия стояла у ворот и смотрела.

Сначала ничего не произошло. Потом в глубине, за верстаком, что-то шевельнулось: не тень, не звук, а движение, которое не успело стать ни тем, ни другим. И оттуда, из-за верстака, ответили. Голос был мужской, не старый и не молодой, и говорил он те же слова, только иначе: не как человек, который прощается, а как человек, который повторяет чужую фразу, чтобы проверить, верно ли он её расслышал.

— Ну, ты пошёл.

Марк не обернулся. Он стоял очень спокойно, только плечи у него чуть поднялись, как поднимаются плечи у человека, который сдерживает дыхание, чтобы не выдать, что ему не всё равно.

— Слышала, — сказал он утвердительно.

— Слышала.

— А видела?

Анастасия смотрела в глубину помещения. У неё было ощущение, что она стоит перед экраном, на который наложили второй, очень старый слой, и этот второй слой сейчас просвечивал сквозь первый, как просвечивают обои через побелку.

— Видела, — сказала она. — Расскажи ещё раз эту историю. Только с начала.

— Я её уже три раза рассказывал.

— В четвёртый раз расскажи с начала. Мне надо кое-что проверить.

Марк пожал плечами, но рассказал: про базу, про Кузьмина, про то, как тот разговаривал с помещением, и про то, как помещение продолжало отвечать уже без него. Он рассказывал так же ровно, как в первый раз, с теми же паузами, и когда он доходил до «ну, я пошёл, а ты тут смотри», голос у него чуть менялся, потому что он этот эпизод любил.

Кадр в это время стоял.

Анастасия приложила ладонь к стойке ворот и почувство-

вала, как дрожь под ней изменилась: она стала мельче и ровнее, будто кто-то подтянул изображение. Полки в глубине встали на место, полосы света выпрямились, человек в ватнике на секунду повернул голову, но так и не посмотрел в сторону. Неподвижность его стала отчётливее, и сквозь неё проступило то, чего раньше не было: на полу, у самого края кадра, лежала тень, которой в помещении не на что было падать.

— Ага, — сказала она.

— Что «ага»? — сказал Марк. — Тебе тоже ответили?

— Мне тоже. — Она убрала руку. — Ты знаешь, что у тебя голос меняется, когда ты про ватник рассказываешь?

— Не знаю. И не уверен, что мне это нравится.

Она вышла из ворот первой и остановилась на улице, потому что после склада на воздухе опять было слишком светло.

— Ты веришь в эту историю? — спросила она.

— В какую?

— В Кузьмина. В то, что он разговаривал с помещением.

Марк подумал, и это было видно: он не изображал обдумывание, а правда перебирал варианты.

— Я верю в базу и в то, что человек может разговаривать с местом, в котором работает один. Я верю, что помещение запоминает, как его запирают. Только я не верю, что кладовщик отвечает, — сказал он наконец. — Я думаю, что отвечает или сквозняк, или механик, который перешучивается,

или история, которую рассказывают так долго, что она начинает сама себя пересказывать.

— И всё-таки ты сюда ходил трижды.

— И всё-таки я сюда ходил трижды, — согласился Марк. — Потому что человек, который один раз сказал «ну, я пошёл» и получил ответ, больше не может быть уверен в себе.

Анастасия смотрела на него и думала о том, что у этого человека устроена голова: он мог одновременно не верить в историю и ходить к ней в гости.

— Есть у тебя ещё одна легенда? — спросила она. — Чтобы проверить одну вещь, мне нужно две.

— Две у меня есть. У меня их восемнадцать.

— Тогда следующая.

— Следующая — двор, в котором нельзя свистеть, — сказал Марк, и в его голосе опять что-то изменилось, только на этот раз в другую сторону. — Там считается, что если свистнуть, уйдёт удача. Не то чтобы у людей отобрали деньги, а так: свистнул — и всё пошло не туда, как будто кто-то сбил тебе настройку.

— И ты в это не веришь, — сказала Анастасия.

— И я в это не верю. — Он засмеялся. — Извини, это самая слабая история из моего списка. Я её держу потому, что в ней есть одна хорошая деталь: во дворе свистят дети. Они про запрет знают, и всё равно свистят, потому что дети считают, что взрослые выдумали запрет для удобства.

Двор был через два переулка. Обыкновенный, с качеля-

ми, с белой краской по бордюру, с тремя тополями и детской площадкой, на которой сидела очень старая женщина с пакетом.

— Ну, — сказал Марк. — Свисти.

— Я не умею свистеть.

— Все умеют свистеть, — сказал он. — Кто-то просто не тренировался.

Анастасия взяла скетчбук, прислонила его к урне, чтобы не держать на весу, и приложила руку к качелям. Кадр открылся сразу, и был он другим: не мутным, не дрожащим, а каким-то плоским, как реклама на остановке, где всё по отдельности есть, а вместе не живёт. Двор стоял в этом кадре, люди по нему шли, дети играли, качели скрипели, и в то же время в кадре было пусто, будто с него сняли звук и половину краски.

— Странно, — сказала она.

— Что странно?

— Ты рассказал с уверенностью, а картинка от этого не собралась. — Она провела фломастером по бумаге, и линия пошла ровно, но скучно, как идут линии, когда рисуешь не то, что видишь, а то, что положено. — Другая история держалась крепко, а эта разваливается.

Марк не сразу понял, о чём она.

— Ты сейчас про что? — спросил он.

И в этот момент у неё над ухом зазвучал Элиас. Он не появился, не дал о себе знать теплом, просто заговорил, тихо

и очень быстро, как говорят люди, которые не хотят, чтобы их услышал кто-то третий, стоящий в двух шагах.

— Смотри, как устроено, дорогая: одна история держит веру, а другая держит только рассказчика. Когда люди верят в историю, реальность под неё подстраивается, ей так проще. А когда рассказчик сам не верит и при этом рассказывает хорошо, получается обои: рисунок есть, а стены за ним нет.

Анастасия не ответила. Отвечать при Марке было нельзя, и она это помнила. Иначе сочтет ее за сумасшедшую.

— Значит, легенда про склад держится, — сказала она вслух. — А про свист — нет.

— Почему?

— Потому что ты в склад веришь, а в свист нет.

Марк посмотрел на неё так, будто она у него за спиной что-то прочла.

— Я в свист не верю, — сказал он. — Я в свист даже не верю настолько, что рассказываю его последним. Я его рассказываю только честным людям, чтобы они видели: у меня бывает халтура.

— И вот тут у тебя халтура, — сказала Анастасия. — Она чувствуется. — Она закрыла скетчбук. — Ладно. Осталось много времени? В смысле, у маршрута.

— У маршрута ещё полтора часа, а у меня ещё шестнадцать легенд. — Он повесил фотоаппарат на плечо. — Только я теперь хочу спросить: ты проверяешь мои истории на прочность?

— Проверяю, — сказала Анастасия. — Я женщина средних лет, доверяю, но проверяю.

Марк засмеялся, и старая женщина с пакетом посмотрела на них с той строгостью, с какой смотрят на людей, которым весело там, где другим ничего не понятно.

Домой Анастасия вернулась в начале седьмого, поставила турку и села за стол, не снимая куртки.

День был прожит правильно: склад, свист, две легенды, один снимок с лишней тенью. И всё это время она думала не о складе. Она думала о том, что за двадцать лет смотрела чужие истории через чужие вещи и ни разу не посмотрела в собственный дом. Дом стоял на своём месте сто лет. В нём сменилось столько людей, что перечислять пришлось бы с бумажкой, и все эти люди трогали те же ручки, те же косяки, ту же плиту.

— Это, между прочим, обидно, — сказала она вслух.

— Что именно? — отозвался Элиас, который уже сидел на подоконнике с видом человека, приготовившегося к длинному разговору.

— Что я двадцать лет хожу к клиентам через вещи, а у себя под носом у меня лежит склад.

— Не склад, — сказал Элиас. — Архив. Склад — это когда всё в ящиках и никто не помнит, что где. А у тебя архив с описью, только опись ты не читала.

Анастасия сняла куртку, повесила её на спинку стула, достала скетчбук и пошла по дому.

Она начала с гостиной, потому что в гостиной стояли часы. Часы отставали на семь минут, и она не переводила их много лет, объясняя это тем, что дом привык. Теперь она положила на них ладонь.

Кадр открылся сразу, только был он не про часы. Он был про комнату, в которой часы стоят, и в этой комнате шёл ремонт: стены были выбелены, мебель сдвинута к середине, на полу лежали газеты. Молодой мужчина в майке держал часы в руках, а женщина рядом говорила ему что-то, стоя спиной к кадру, и по её спине было видно, что она спорит не всерьёз. Мужчина посмеялся, повесил часы на стену, посмотрел на них, потом перевёл на семь минут назад, будто делая одолжение, и сказал одно слово. Слова Анастасия не услышала, но по губам прочла: «успеем».

Она отняла руку.

— Успеем, — повторила она. — Значит, часы не привыкли. Часы поставили так, чтобы не опаздывать, а потом те, кто после, решили, что это характер.

Дальше был ковёр. Тот самый, протёртый у одного угла, где сорок лет назад стояло кресло. Это она знала и без кадра, но теперь проверила и увидела больше: кресло передвигали. Оно стояло у окна, потом у стены, потом снова у окна, и всякий раз на ковре оставалась новая протёртость, а старая не исчезала. Ковёр хранил все варианты расположения кресла одновременно, как черновики одной и той же сцены.

Косяк в гостиной был третьим. Она взялась за него ру-

кой и сразу поняла, что зря: кадр ударил резко, как ударяет сквозняк из открытой двери, и в нём молодая женщина в платье с коротким рукавом стояла, держась за этот косяк, а по коридору шёл мужчина с чемоданом. Он не оборачивался. Женщина не говорила. За окном было лето, в саду цвела сирень, и всё это было таким обыкновенным, что Анастасия почувствовала себя неловко, будто вошла в чужую комнату без стука.

Она перевела дыхание и пошла дальше.

В столовой кадр показал коммунальную кухню, в которой четыре хозяйки по очереди подходили к одной плите, и каждая держалась за её край в одном и том же месте, отчего край стёрся. В детской, той, где дверь оставляли приоткрытой, потому что там лучше ходил воздух, кадр показал двух мальчиков, которые строили на полу что-то из книг и коробок, и один всё время поправлял другого: не так, левее, теперь ровно. Мальчики были не её. Её дети в этой комнате рисовали на обоях, и это она помнила сама, без кадра.

А потом случилось то, из-за чего ей стало не по себе.

Она вернулась в гостиную и ещё раз взялась за косяк, на этот раз нарочно, собравшись смотреть внимательнее. И увидела ту же сцену, но другими глазами: женщина у косяка была другая. Платье было другое, волосы другие, лето за окном другое, а жест тот же: пальцы держатся за дерево, будто дерево может задержать человека, который уже решил идти. И мужчина с чемоданом был другой.

Анастасия отпустила косяк и постояла.

Потом она ещё раз прошлась по дому, уже не касаясь вещей, и посмотрела на дом как на человека, с которым прожила много лет и о котором знала только то, что он удобный.

Дом был не удобный. Дом был терпеливый. Он хранил всё, что в нём происходило, и хранил не по одному разу: он повторял сюжеты. Люди в нём уходили, люди в нём ждали, люди в нём переставляли мебель, чтобы стало лучше, и через несколько лет переставляли обратно. Дом запоминал не события, а то, как их переживали.

— И давно ты это знаешь? — спросила она.

— Я знал, что ты спросишь, — сказал Элиас из коридора, где он стоял, прислонившись к стене, и по его лицу было видно, что он говорит не шутку.

— И что теперь с этим делать?

— С чем?

— С домом, в котором четыре разных женщины держались за один косяк. — Анастасия посмотрела на свою руку, на которой ещё оставалось ощущение дерева. — Он же это всё носит. Он же этим дышит. Тут не воздух, тут архив, как ты выразился.

— И что ты хочешь с ним сделать?

— Для начала — проветрить.

Она сказала это и сама услышала, как это прозвучало. Не «выбросить», не «продать», не «сделать ремонт». Проветрить.

— Ну, — сказал Элиас, — наконец-то.

— Что «наконец-то»?

— Ничего. — Он вернулся на подоконник. — Просто интересно, где ты возьмёшь соль.

Соль нашлась в шкафу за банками, в пачке, на которой было написано «Экстра», и Анастасия с минуту держала эту пачку в руках, разглядывая её как посторонний предмет. Полтора килограмма. Помол номер один. Произведено в Саратовской области.

— То есть, — сказала она, — четыре женщины держались за косяк, а лечится это у меня солью из «Пятёрочки».

— А чем ещё это лечится? — спросил Элиас с подоконника. — Ты хочешь, чтобы тебе привезли её из Иерусалима? Её и привозят. Потом она лежит в шкафу, и её никто не рассыпает.

Свечи она нашла в ящике комода, в коробке из-под конфет, где они лежали вместе с пуговицами и старыми ключами. Тонкие восковые свечи, восемь штук, одна короткая, будто её уже зажигали. Анастасия не помнила, откуда они взялись, и это её устроило: вещь без истории лучше всего подходит для того, чтобы начать с ней новую.

Работать она решила по порядку, как работала всегда, потому что порядок в её ремесле заменял вдохновение, а результат был примерно тот же.

Сначала дом. Она обошла его по периметру, от прихожей до задней стены, где за кухней была кладовка со шлангом и

лыжами, и в каждом углу поставила щепотку соли, а потом ещё щепотку, потому что угол имеет обыкновение притягивать к себе пыль и внимание. Соль она сыпала на пол, не жалея, и через десять минут дорожка за ней стала похожа на след, оставленный человеком, который шёл по дому и думал о другом.

— Ты уверена, что знаешь, где в этом доме углы? — спросил Элиас, шедший за ней по пятам.

— Я здесь живу.

— Ты здесь живёшь не долго, и я тебе как существо, которое сопровождает тебя двадцать лет, говорю: ты не знаешь, где в этом доме углы. У тебя за картинами два угла, замурованных, которые никто не вскрывал с сороковых, и один угол за шкафом в детской, который задвинули так, что он не открывается.

Анастасия остановилась.

— Тогда покажи.

— Не могу. — Элиас развёл руками. — Я не касаюсь. Это твоя работа, а я могу только стоять рядом и говорить умное.

Дом она прошла дважды, простукивая углы. Второй раз медленнее, отдирая шкаф от стены, обнаружив углы за картинами, где соль ложилась на старую краску и не хотела с неё сходить. Ковёр она скатала к середине гостиной, потому что решила не оставлять в доме ни одного места, которое помнит чужие шаги и не помнит её.

Потом она принесла большой лист бумаги, тот самый, на

котором они с Сергеем рисовали кухню, и положила его на полу в гостиной. На листе она нарисовала план дома. Обычно она рисовала планы нейрографически: скругляла линии, доводила их до края, потом возвращала к центру. Теперь она делала то же самое, но с домом. Она обвела каждый угол, который знала, и скруглила его, а потом обвела углы, которые знал Элиас, и скруглила их тоже, и в конце концов у неё получилось нечто, похожее на карту реки, в которой дома разошлись в стороны.

— Хорошо, — сказал Элиас. — Только ты забыла окно.

— Какое?

— То, из которого ты смотришь, когда не можешь уснуть.

Анастасия посмотрела на свою карту, потом на окно, потом снова на карту. Окно она действительно не нарисовала.

— А разве это не одно и то же? — спросила она.

— Нет, — сказал Элиас. — Угол — это то, что в доме держится. А окно — это то, чем дом дышит. Если ты его не нарисуешь, он будет дышать через угол, а ему неудобно.

Она дорисовала окно. Оно вышло не там, где было, а чуть наискосок, и линия от него пошла не вниз, а в сторону, будто её вела рука, у которой было своё мнение.

Свечи она расставила по углам, восемь штук на восемь мест, и зажгла от одной, от той, которая уже была короткой.

— Ты понимаешь, что будешь ходить по дому со свечой и зажигать всё, что загорится? — спросил Элиас.

— Понимаю.

— И что половица у тебя сухая?

— Она у меня сухая. От того и скрипит. надо бы заменить.

Дом стал другим не сразу.

Сначала ничего не происходило: она ходила, свечи горели ровно, соль лежала, где положили. Потом в углу за шкафом свеча наклонила огонь в сторону, как наклоняет его ветер, и Анастасия почувствовала, как по дому прошёл сквозняк, который не имел направления. Не холод, а движение: так двигается воздух в комнате, из которой вышло много людей.

Она стояла с зажжённой свечой в руке и смотрела, как в гостиной шевелятся тени: у косяка, у часов, над ковром, у окна.

— Не бойся, — сказал Элиас тихо, впервые за вечер без всякой шутки. — Ты же сама это поставила. Ты только наполнила дом тем, что помнит, а он теперь проверяет, можно ли отпускать.

Анастасия не стала ничего говорить, потому что говорить в такие минуты было бы репетицией. Она прошла по дому с той же солью, что и в первый раз, но уже по кругу, и в каждом углу повторяла одну и ту же фразу, очень простую, потому что сложное в её работе держит хуже: «Ну, я пошла, а ты тут смотри».

Она не думала об этой фразе. Фраза взялась сама, прозвучала у неё в голове голосом кладовщика Кузьмина, и Анастасия удивилась только потом, когда уже всё было сказано. Фраза была правильной. Она не приглашала и не отпускала,

она показывала дому, что теперь у него есть кто-то, кто может уйти и вернуться.

Свечи догорели до половины, потом Анастасия задула их по одной, начиная с дальнего угла. Когда она задула последнюю, в доме стало тише. Не пусто, а именно тише: как в комнате, из которой ушли гости, но остались их стулья и запах кофе.

Она открыла окно в гостиной, и в дом вошёл воздух: холодный, сентябрьский, с запахом мокрой листвы и чужого ужина.

— Ну как? — спросил Элиас.

Анастасия постояла, прислушиваясь.

Половица в коридоре сперва молчала, а потом отозвалась на её шаг: коротко, негромко, как отзывается человек, которого разбудили, но он не сердится.

— Дышится, — сказала она.

— Это ты сейчас про себя или про дом?

— Я не знаю, где у меня кончается одно и начинается другое.

— Вот это, — сказал Элиас с наслаждением, — самый здоровый ответ, который я от тебя слышал за пять лет.

Она перевела часы в гостиной. Не на семь минут вперёд, как можно было бы сделать, чтобы проверить, удержится ли новый порядок. Она просто поставила их вровень с временем, а потом посмотрела, как стрелка стоит на своём месте, как будто всю жизнь стояла.

— Успеем, — сказала Анастасия часам.

Чай они пили на кухне, при открытом окне, и в доме было слышно, как в саду шуршит смородина. Анастасия сидела, подперев голову рукой, и чувствовала себя человеком, который сделал уборку не там, где надо было, а там, где давно следовало.

— Ну, — сказала она. — Говори.

— Что говорить?

— Ты весь вечер ходил вокруг меня с лицом человека, у которого есть заключение. Говори заключение.

Элиас поставил чашку и на минуту стал похож не на конферансье, а на того, кем он, вероятно, был по документам.

— Заключение такое, — сказал он. — Ты почистила дом не для дома. Дом и без тебя дышал, ему было не так плохо, как тебе казалось. Ты почистила его потому, что впервые за много лет решила, что в твоей жизни может что-то начаться.

— И что во мне может начаться?

— Новый этап. — Он сказал это без пафоса, будто сообщал номер маршрута. — Ты двадцать лет приводила в порядок чужие сценарии. Свой ты держала на паузе: тишина, кофе, картины, дети по колледжам, вежливый мужчина за забором, который запускает газонокосилку. И вдруг ты прикладываешь руку к стене и слушаешь, что тебе скажет город. Это не про город, дорогая. Это про то, что ты снова начала задавать вопросы.

Анастасия посмотрела в окно. В саду уже стемнело, и яб-

лоня стояла как стояла, только теперь в ней было слышно что-то мелкое и деловое, скорее всего, ежа.

— И к чему ты ведёшь?

— К тому, что рядом с тобой ходит человек, который приносит кофе, считает окна и не боится твоей тетради. — Элиас поднял бровь. — Присмотрись к нему. Я, знаешь ли, редко говорю такие вещи прямо. Обычно я подкладываю стулья и включаю свет. Но тут я говорю прямо: присмотрись.

— Он собирает легенды.

— Ты тоже.

— Он уедет.

— Ты тоже уедешь.

— Я женщина средних лет, у меня дети и дом.

— У меня тоже есть дом, — сказал Элиас. — И что?

Анастасия засмеялась и накрыла чашку ладонью.

— Не начинай, — сказала она. — Я тебя знаю. Ты сейчас скажешь что-нибудь вроде «люди встречаются не в лучший момент своей жизни, а в тот, когда у них открыты глаза».

— Я хотел сказать именно это. Ты испортила мне вечер.

— Я тебе каждый вечер порчу. Это моя работа.

— Твоя работа — задавать вопросы. — Элиас встал. — А моя — следить, чтобы ты их задавала не только клиентам.

Она легла в начале двенадцатого, и дом был тихим в том смысле, в каком тихими бывают дома, из которых убрали лишнее. Половица не скрипнула, часы в гостиной шли ровно, окно в детской стояло приоткрытым, и в него тянуло хо-

лодом, который теперь не казался ей чужим.

Первое послание она нашла утром, в кармане куртки.

Записка была сложена вчетверо, как складывают записки в кино, и в ней стояло, круглым почерком человека, который учился писать гусиным пером и не признался в этом никому: «Хорошо выглядишь. Особенно когда не споришь». Анастасия прочитала её дважды, потом вышла на крыльцо и сказала в сад:

— Элиас.

В саду качнулась ветка.

— Элиас, я тебя вижу.

— Ты меня не видишь, — отозвался он от яблони. — Ты меня чувствуешь. Это разные вещи, и я прошу их не путать, потому что на этом стоит половина моей профессии.

— Что это?

— Записка.

— Я вижу, что записка.

— Тогда не спрашивай.

Второе послание обнаружилось в ванной, на зеркале: «Ты уже решила. Просто ещё не сказала вслух». Буквы были выведены чем-то белым, и Анастасия потратила пять минут, чтобы понять, что это зубная паста.

Третье лежало в книге, которую она читала перед сном. Закладкой служила салфетка, сложенная в форме сердца, и на салфетке было написано: «Он приносит кофе. Ты варишь кофе. Это уже не совпадение, это технология».

Четвёртое она нашла на кухне, у косяка, куда поставила соль: соль была собрана в аккуратное сердечко, и сердечко было таким ровным, что в нём угадывалась работа существа, у которого много свободного времени.

— Элиас! — крикнула Анастасия. — Это уже вандализм!

— Это искусство, — сказал он из коридора. — И, между прочим, композиция. Я туда два часа подбирал пропорции.

— Ты не можешь два часа подбирать пропорции. Ты вне времени.

— Я могу два часа подбирать пропорции, — сказал Элиас с достоинством. — И я это делал. Неуважение к чужому труду — не лучшая черта для женщины, которая почистила дом и помолодела на десять лет.

Анастасия села на табуретку, потому что стоять и злиться было неудобно, а смеяться — тем более.

— Ты понимаешь, что я не собираюсь ни с кем знакомиться? — сказала она. — Мне не нужен мужчина, который будет ходить по моему дому в ботинках и рассказывать, где раньше стояла аптека.

— Я и не предлагаю тебе знакомиться. Я предлагаю тебе не отказываться заранее.

— Он приходил с папкой.

— А ты встречала человека, который приходит с папкой, и он тебе не понравился?

Анастасия молчала.

— Вот, — сказал Элиас. — Молчание — это первый этап

согласия. Второй этап — когда ты перестаёшь ворчать. Третий — когда ты гладишь платье.

— Уйди.

— Ухожу. — Он уже стоял у двери. — И последнее. Посмотри на записки внимательно, прежде чем выбрасывать. Мне кажется, они не все мои.

Он исчез раньше, чем она успела спросить.

Анастасия собрала послания и разложила их на столе: записка из кармана, салфетка с сердцем, две надписи, переписанные ею на бумагу. Почерк у всех был один и тот же, ровный, круглый, чуть вычурный.

Все, кроме одной.

Она не сразу заметила пятую записку, потому что та лежала не в доме, а на крыльце, под дверью, и её придавило ветром к порогу. В ней было три слова, и почерк был другой: острый, летящий, с нажимом не в ту сторону, в какую нажимает человек.

«Ты что-то упускаешь».

Анастасия подняла записку, посмотрела на неё и на всякий случай оглянулась. В саду качалась яблоня, в доме шли часы, и ничего не происходило.

— Элиас? — сказала она.

Садовый ветер пошевелил смородину, но никто не ответил.

Склейка

Пятая записка пролежала на столе всю ночь, и утром Анастасия рассматривала её с той осторожностью, с какой рассматривают чужой паспорт.

Бумага была обычная, из тех блоков, которые покупают в канцелярском отделе за неимением лучшего. Чернила синие, перьевая ручка, острый наклон влево и такой нажим, что на обороте проступили бугры. Три слова: «Ты что-то упускаешь».

— Это ты? — спросила она.

— Я, — сказал Элиас с подоконника. — Ты что-то упускаешь, дорогая. Прежде всего, что сегодня среда и у тебя в одиннадцать клиентка.

— Я не про смысл. Я про бумагу. Ты писал?

Элиас спустил ногу с подоконника и посмотрел на записку так, как смотрят на вещь, которую впервые видят в своём доме.

— Нет, — сказал он. — И, поскольку я человек, который любит признавать собственные шутки, а не чужие, скажу тебе сразу: мне это не нравится.

Анастасия положила записку на стол и накрыла её ладонью. Никакого тепла, никакого шевеления, никакой картинки. Бумага как бумага.

— Ты сказал, что послания не все твои, — напомнила она.

— Значит, ты знал.

— Я догадался. — Элиас стал серьёзнее, чем был в последние сутки. — Записка лежала на крыльце, под дверью. Я не хожу через дверь, я не пользуюсь бумагой и я не пишу пером, у меня почерк, которому я двадцать лет учусь, и он не такой. Это писало что-то, у чего есть привычка к перу и очень мало привычки к людям.

— И что это значит?

— Это значит, что у тебя есть корреспондент, — сказал Элиас. — А кто он, я пока не знаю. И это, поверь мне, лучшая новость за неделю: я не люблю, когда не знаю.

Клиентка пришла в одиннадцать и ушла в начале первого, оставив ей на память рисунок с двумя линиями, которые никак не сходились. Анастасия заварила кофе, села в кабинете и открыла скетчбук, чтобы проверить одно подозрение, о котором не хотела думать вслух.

Подозрение было простое: кадры последнее время не держались.

Начиналось всё как обычно. Она брала вещь, вещь разворачивалась, комната в кадре становилась на место. А потом, через несколько секунд, по краям начинала идти та самая мелкая рябь, что и на складе, и картинка расползалась. Не гасла, как гаснет экран телефона, а именно расползалась: люди в кадре двигались, но их движения переставали совпадать между собой, будто сцену снимали три оператора и каждый держал свой ритм.

Она достала из ящика коробку со старыми ключами. В коробке лежало штук двадцать: от квартир, от сарая, от дачного замка, от чего-то, чего давно не было. Она взяла первый попавшийся, тяжёлый, с бородкой, вытертым от времени.

Кадр открылся: коридор, чужой, с побелкой и с ковровой дорожкой, женщина в халате открывает дверь, и в дверях стоит кто-то с сумкой. Потом, вместо продолжения, коридор дёрнулся и рассыпался: женщина оказалась уже в кухне, сумка стояла на полу, а за окном был вечер, хотя секунду назад был день. Потом третий осколок: та же женщина сидит на полу и держит эту сумку на коленях.

Анастасия сняла руку и посмотрела на ключ.

— И давно? — спросил Элиас от двери.

— Не знаю. Я думала, что это полноценный дар.

— А это не дар?

— Дар. Но как будто погоняемый сквозняком. — Она отложила ключ. — А это как если бы я включила телевизор, а он стал показывать три канала одновременно, и все три — с разной скоростью. Дар — это система, а тут системы нет, будто обрывки.

— Может, тебе так и надо, — сказал Элиас. — Может, ты выросла и пора идти глубже.

— В том, чтобы смотреть три канала сразу, нет ничего растущего. Это значит, что у меня нет приёмника, а есть антенна. — Она откинулась в кресле. — Мне не хватает не кадров. Мне не хватает того, что их держит вместе.

Она сказала это и почувствовала, что попала в точку, которую искала с того утра, как нашла пятую записку.

Кадры были не слабее, чем раньше. Они были честнее. Она видела больше вариантов, и каждый вариант тянул в свою сторону, и не было между ними той тонкой плёнки, которая в старом телевизоре называлась склейкой и которую никто не замечает, пока она не пересохнет.

— Мне нужен клей, — сказала Анастасия.

— В переносном смысле?

— В прямом. — Она встала и пошла в комод. — Вещь, которая будет держать кадры рядом друг с другом. Не выбирать за человека, не показывать будущее, а склеивать то, что уже есть.

— А это законно? — спросил Элиас, идя за ней.

— Ты ангел, тебе ли спрашивать.

— Я спрашиваю не про закон, а про тебя. Склеивать чужие сцены — это уже не смотреть кино. Это монтаж.

Анастасия достала с верхней полки жестяную коробку.

Коробка была из-под печенья, с выцветшей картинкой, и в ней лежало всё, что не жалко и не выбросить: пуговицы, брошки без замков, две одинокие серёжки, обрезки цепочек и стёкла. Стёкол было много: от разбитой вазы, от броши, от чего-то выпуклого, от чего-то плоского. Она разложила их на столе и стала смотреть.

— Ты сейчас как золушка, — сообщил Элиас, усаживаясь напротив. — Только вместо фасоли у тебя осколки.

— Не мешай.

Она выбрала овальное стёклышко, толщиной в ноготь, с еле заметной желтизной по краю. Оно когда-то стояло в карманных часах, и по нему всё ещё шла круговая царапина от стрелки. Именно царапина и подходила: по ней, как по кругу, можно было вести линию.

— Вот это, — сказала она. — Оно уже умеет держать время.

— Оно умело показывать время, — поправил Элиас. — Держали его часы.

— Часов нет. Есть стекло. — Анастасия взяла стекло в руки и приложила к глазу. — Оно прожило в вещи, которая отражала ход событий. Это уже биография.

Дальше была вторая стекляшка, поменьше, и чернила.

Чернила нашлись там же, где всё остальное, — в глубине ящика с бумагами, в бутылочке с притёртой пробкой, на этикетке которой было написано что-то по-немецки и стояла цена в старых рублях. Анастасия купила их лет пятнадцать назад, когда ей казалось, что она будет учиться каллиграфии. Каллиграфия не случилась, чернила остались, и, когда она открутила пробку, в комнате запахло так, как пахнет в кабинете человека, который пишет письма от руки и не торопится.

— Ты уверена, что они не высохли? — спросил Элиас.

— Они не высохли. Они загустели. Это разные вещи: высохшие чернила умерли, а загустевшие просто стали серьёз-

нее.

Она вылила немного в блюдце. Чернила легли тёмно-синим, почти чёрным, и на поверхности появилась плёнка, которую она сняла кончиком ножа. Плёнка была похожа на тонкую кожицу, и Анастасия с минуту смотрела на неё, прежде чем понять, что именно она держит в руках.

— Вот, — сказала она. — Склейка.

— Ты сейчас про плёнку?

— Про плёнку. — Анастасия подцепила её на лезвие. — Кадры — это не картинки, это слои. Когда их показывают по одному, они держатся сами, потому что между ними ничего нет. А когда их становится много, между ними должна быть плёнка. Иначе они проскальзывают друг сквозь друга.

— И ты хочешь сделать плёнку из чернил, которым пятнадцать лет.

— Я хочу сделать плёнку из того, что уже научилось быть тонким. — Она положила плёнку на нижнее стёклышко.

Работа заняла часа полтора, и это были хорошие полтора часа: те, в которые руки заняты, а голова молчит. Анастасия положила нижнее стекло на кусок сукна, нанесла на него чернильную плёнку, накрыла верхним стеклом и прижала. Чернила разошлись между стёклами тонким слоем, и в этом слое осталось несколько пузырьков, которые она выгоняла к краю ногтем, как выгоняют воздух из-под обоев.

Потом она обмотала стекло тонкой медной проволокой, которую нашла в той же коробке, и вывела петлю. Оправа

получилась грубой, но держала крепко. Анастасия поднесла кулон к свету.

На просвет в стекле была видна царапина от стрелки, и по ней, если повернуть, шла радуга. А в середине, между стёклами, стояла тёмная капля, и в капле плавали мелкие пылинки, которые не смогли выгнать.

— Ты забыла главное, — сказал Элиас.

— Что?

— Что ты сама не знаешь как это будет работать.

Анастасия посмотрела на кулон в руке. Он был тёплый, потому что она держала его полтора часа. Он ничего не умел: он даже не умел показывать время.

— Он мне нужен, чтобы кадры не рассыпались.

— Нет. — Элиас покачал головой. — Кадры не рассыпаются, когда их смотрит один человек, который знает, где начало. Они рассыпаются, когда их смотрит человек, у которого нет собственного начала. Ты вырезала себе клей, а значит его нужно восполнить.

— Я тебя не понимаю.

— Понимаешь, — сказал Элиас. — Просто не хочешь. Скажи вслух: зачем тебе кулон?

Анастасия подержала его на ладони и честно подумала.

— Чтобы я перестала бояться, — сказала она.

— Вот. — Элиас кивнул. — Теперь он хотя бы получил назначение. Вещь без назначения — это украшение, а украшение из осколков и чернил носить неприлично.

Она надела кулон на шею, заправила под свитер и почувствовала, как стекло холоднуло кожу, а потом сравнялось с её температурой. В этот момент ничего не произошло: комната была комнатой, скетчбук лежал на столе, кофе в чашке остыл.

— И всё? — спросила она.

— А ты ждала фейерверк?

— Я ждала что-нибудь. Знак.

— Вещи такого рода не работают по команде, — сказал Элиас. — Ты же не включаешь сердце.

Анастасия взяла скетчбук и положила его на колени, чтобы записать, из чего сделан кулон, пока не забыла. Потом, для проверки, взяла в другую руку тот самый старый ключ.

Кадр открылся, и на этот раз он шёл ровно.

Коридор, побелка, ковровая дорожка, женщина в халате открывает дверь. Человек с сумкой. Дальше, вместо разрыва, кадр потянулся: сумка оказалась в кухне, день перешёл в вечер с той поспешностью, с какой пересказывают дорогу, которую не хотят вспоминать. Потом женщина на полу с сумкой на коленях, и это уже было не три куска, а одна сцена, которую кто-то снял целиком.

Анастасия почувствовала, как под стеклом кулона что-то толкнулось. Один раз. Как толкается сердце под рукой, когда человек волнуется.

Кадр пульсировал.

Он светлел и темнел в такт этому толчку, ровно, как свет-

леет и темнеет комната, когда на неё находит облако. И с каждым толчком в кабинете становилось холоднее. Не как на улице и не как в складе, где холод шёл из ям, а как в комнате, из которой выключили отопление и открыли окно: сначала это замечаешь руками, потом лицом, потом тем местом на затылке, где у человека живёт чувство направления.

Анастасия увидела, как её дыхание стало видимым.

Скетчбук соскользнул у неё с колен и упал на пол, раскрывшись на середине. Она дёрнулась поднимать, но руки были заняты: в одной ключ, в другой кадр, который шёл уже не в комнате, а как будто поверх неё.

— Отпускай, — сказал Элиас очень спокойно.

Она разжала руку.

Ключ упал на пол рядом со скетчбуком. Кадр погас не сразу: он ещё секунду стоял в воздухе, как стоит после дождя тонкая радуга, и только потом свернулся в точку и исчез.

В кабинете снова стало тепло, но как-то неохотно, будто тепло возвращалось и по дороге обо что-то спотыкалось.

Анастасия сидела, глядя на упавший скетчбук. На странице, которая открылась, шёл переулок с прошлой субботы: завиток тени и чёрная линия, которую она не вела. Линия на этом развороте была на месте. Правда, теперь она шла не от рисунка, а к нему, и упиралась ровно в тот завиток, который она нарисовала в переулке.

— Элиас, — сказала она.

— Вижу, — сказал он.

И в это время в дверь постучали.

Стук был двойной, деликатный, тот самый, который она уже умела отличать от всех прочих: сначала костяшкой, потом чуть тише, будто стучащий проверял, не показалось ли ему в первый раз.

Анастасия посмотрела на часы. Половина третьего. В среду в половине третьего у неё не было никого.

— Это ко мне? — спросила она.

— Это к дому, — сказал Элиас, который уже стоял у окна и смотрел вниз с выражением человека, купившего билет заранее.

На крыльце стоял Марк, с рюкзаком на одном плече и с очередной папкой под мышкой. В отличие от прошлых раз, он не смотрел на фасад и не считал окна. Он смотрел на дверь, и по его лицу было видно, что он сам не до конца уверен, стоит ли ему здесь быть.

— Я не вовремя, — сказал он, когда она открыла. — То есть я знаю, что не вовремя. У меня была съёмка в двух кварталах отсюда, и я подумал, что если не зайду, то буду весь вечер объяснять себе, почему не зашёл.

— Заходи, — сказала Анастасия. — Только у меня в кабинете беспорядок. Я тут творчеством занималась.

Он вошёл, снял куртку, повесил её на крючок у двери, и Анастасия впервые заметила, что он делает это так же тщательно, как Сергей свой пиджак, только без обиды на весь мир.

— Беспорядок — это когда вещи лежат не на своих местах, — сказал Марк. — А у тебя, судя по всему, всё на своих.

Она не успела его остановить. Он заглянул в кабинет первым, и остановился в дверях, и не сказал ничего сразу, а это было хуже, чем если бы сказал.

В кабинете было холодно. Не так, как было пять минут назад, когда её дыхание становилось видимым, а просто холодно, как в комнате, которую проветривали и забыли закрыть. На полу лежал раскрытый скетчбук. На столе стояла бутылочка из-под чернил, блюдце с синей плёнкой по краю и моток медной проволоки. На стекле окна с внутренней стороны осел иней: мелкий, редкий, он шёл по нижнему углу, как идёт изморозь по металлу в морозильнике.

— У тебя тут погода, — сказал Марк.

— У меня тут сквозняк.

— У тебя тут иней. — Он подошёл к окну и потрогал стекло ногтем. — В сентябре.

Анастасия стояла посреди кабинета и очень хорошо понимала, как она выглядит со стороны: женщина в свитере, с синими пальцами, с висящим на шее самодельным кулоном из двух стёкол и проволоки, в комнате, где на окне иней, а на полу раскрыта тетрадь с рисунком, на котором линия идёт не туда.

Марк обернулся и посмотрел на кулон.

— Это ты сделала?

— Да.

— Сама?

— Сама.

Он подошёл ближе, но не настолько, чтобы стать неудобным, и посмотрел на стекло так, как смотрел на тени: внимательно и без всякого удивления.

— Оно у тебя запотело, — сказал он. — Вот здесь, у края. И изнутри иней. — Он поднял глаза. — Ты не могла бы объяснить мне, почему у украшения, которое сделано из стекла и чернил, внутри иней, а снаружи капли?

— Могла бы, — сказала Анастасия. — Но ты сначала скажи, что ты об этом думаешь.

Марк сунул руки в карманы и покачался с пятки на носок, как человек, который решает, стоит ли говорить вслух то, что он думает.

— Я думаю, — сказал он, — что у меня в руках был бы отличный творческий кадр, если бы я успел снять комнату до того, как ты надела кулон. А теперь я думаю, что теперь у тебя что-то не так с отоплением.

Анастасия молчала секунды две.

— С отоплением порядок, это артефакт для поддержки дара, — сказала она.

— Ну да. — Марк кивнул на окно. — У людей есть барометр, у моряков есть свои приметы, у бабушек есть колено, которое ноет к дождю. У тебя теперь есть кулон, который потеет, когда в комнате что-то происходит. Погодный инди-

катор. Только вместо погоды — настроение.

— Ты сейчас это придумал?

— Я сейчас это сказал. Придумал я это в тот момент, когда увидел иней.

Анастасия почувствовала, что смеётся, и смех вышел неловкий, потому что в горле стояло что-то ещё, чему она не хотела давать имя.

— Мне надо сесть, — сказала она.

— Садись. Я постою.

Она присела в кресло, и в это время за спиной Марка появился Элиас.

Он появился не полностью: сначала в воздухе наметился контур, потом легло тёплое пятно, и только потом стало видно, что он стоит в дверях, за спиной Марка, в двух шагах, и держится за косяк. Вид у него был как у человека, который пришёл на свидание друга и теперь активно участвует в нём со стороны буфета.

Марк, разумеется, ничего не заметил. Он смотрел на неё и ждал, пока она справится с лицом.

Элиас поднял обе руки и сделал движение, которое делают на стадионе, когда подгоняют кого-то вперёд.

Анастасия посмотрела на него поверх плеча Марка и очень медленно, почти незаметно, покачала головой.

— Ты сейчас с кем-то здороваешься? — спросил Марк.

— С собой, — сказала она. — У меня привычка.

Марк не стал уточнять, и это было в нём самое неудоб-

ное: он всегда не уточнял в тот момент, когда уточнить было бы проще всего, и оставлял человека с его собственным враньём.

Он подошёл к столу, посмотрел на блюдце с чернильной плёнкой, на проволоку, и в его лице появилось что-то новое, чего Анастасия ещё не видела: не любопытство коллекционера и не спокойствие фотографа, а обычная человеческая жалость, от которой ей стало неловко.

— Ты давно этим занимаешься? — спросил он.

— Двадцать лет.

— Нет. — Он покачал головой. — Я не про то. Я про вот это. — Он показал на блюдце. — Про то, что ты сидишь одна в холодной комнате и паяешь себе приборы из стекла. Ты кому-нибудь об этом рассказывала?

— Тебе сейчас рассказываю.

— Ты мне сейчас ничего не рассказываешь. Ты сидишь и смотришь, как я реагирую на то, чего не могу понять.

Анастасия хотела ответить, и ответ у неё был, и ответ был хороший, но в дверях стоял Элиас и делал вид, что он тут ни при чём, и это делало разговор вдвое сложнее.

Элиас между тем не бездействовал. Он отошёл от косяка, обошёл Марка по дуге, наклонился и посмотрел на пол с видом прораба, который нашёл, наконец, ту самую трещину. Потом поднял глаза на Анастасию и одними губами показал: «Половица».

Анастасия посмотрела на пол.

Половица в кабинете, вторая от двери, стояла чуть горбом. Она стояла так, сколько Анастасия себя помнила, и отзывалась на шаг с той стороны, где никто не ходил. В прошлую субботу Анастасия сказала про неё Элиасу: «Надо бы заменить». И не заменила.

— Марк, — сказала она. — Отойди, пожалуйста, от стола.

— Почему?

— У меня тут пол неровный.

— У тебя тут всё неровное, — сказал Марк добродушно.

Он сделал шаг назад, чтобы не мешать ей встать, и наступил на половицу.

Половица поднялась.

Не сильно, на сантиметр, но этого хватило: край её приподнялся, и в выемке показался старый гвоздь, который торчал под углом. Марк, теряя опору, качнулся назад, схватился за воздух и задел локтем стопку книг на краю стола. Книги поехали. Он попытался удержать равновесие и сделал шаг, которого не было в его планах.

Анастасия успела увидеть его лицо, на котором уже проступило то самое вежливое недоумение человека, который понимает, что сейчас произойдёт что-то неприличное, но не может ничего изменить.

Потом Марк упал.

Упал он неудачно и очень громко: сначала коленом, потом боком, потом лицом. Кабинет был небольшой, и от стола до кресла было ровно столько места, сколько нужно, чтобы

упасть человеку, который не собирался падать. Он ткнулся лицом в угол кресла — того самого, в котором сидела Анастасия, — и остался лежать, уткнувшись носом в обивку, а сверху на него медленно, с достоинством, обрушилась одна из книг.

В кабинете стало тихо.

— Ох, — сказал Марк в кресло.

Анастасия вскочила, и в это же время у неё под ногами хрустнуло: скетчбук, который лежал на полу, получил каблуком по корешку и разъехался, и лист с переулком вылетел и упал рядом с его рукой.

— Не двигайся, — сказала она.

— Я и не двигаюсь. Я вообще не планировал.

Он попробовал приподняться и замер, потому что из носа у него уже шла кровь: сначала одна капля на пол, потом вторая, потом целая полоса по губе.

— Только не на ковёр, — сказала Анастасия совершенно не то, что хотела сказать.

Марк посмотрел на ковёр, потом на неё, и в его глазах было столько извинения, сколько бывает у человека, который пришёл в гости и испортил имущество.

— Я постараюсь, — сказал он.

Элиас стоял у окна, сложив руки на груди, и смотрел на происходящее с видом режиссёра, у которого сорвался дубль.

— Это не то, о чём я просил, — сказал он очень отчётли-

во, чтобы Анастасия услышала.

Анастасия, которая в этот момент уже тащила из ящика салфетки, посмотрела на него так, что он отступил на шаг.

— Извини, — сказал Марк, прижимая салфетку к носу и глядя в сторону, потому что говорить с зажатым носом было неудобно. — Я, кажется, сломал тебе кресло.

— Ты сломал себе нос, — сказала Анастасия. — Кресло потерпит.

— Это не важно. — Он поднял голову, и по губе у него шла кровь, а глаза были очень спокойные. — Я столько раз ломал себе конечности. Кстати, можно считать нос конечностью?

— Голову назад. Вместе с конечностью.

— Не буду.

— Марк.

— Голову назад — это неправильно, — сказал он. — Это старое заблуждение. Если голову назад, кровь идёт в горло, и потом человек думает, что у него что-то с мозгом. Надо вперёд и прижать крылья носа. — Он прижал. — Я тебе тут всё закапал. Извини.

Анастасия стояла над ним на коленях, держа в руках пачку салфеток, и смотрела на кровь на его руках, на губе, на подбородке, и на то, как он аккуратно, по-хозяйски, промокает пол.

— Кто тебя научил? — спросила она.

— Работа, — сказал Марк. — Я одиннадцать лет хожу по

чужим лестницам. Там иногда падают. — Он посмотрел на неё снизу и улыбнулся одним краем рта.

Элиас за его спиной закатил глаза и очень выразительно показал на Марка, потом на Анастасию, потом сложил руки, как складывают, когда показывают на сцене: вот он, вот она, делайте что-нибудь.

Анастасия отвела взгляд и занялась делом.

Аптечка лежала на кухне, в ящике под полотенцами, и в ней было всё, что бывает в аптечке у женщины, которая двадцать лет принимает людей: бинт, пластыри двух размеров, хлоргексидин, перекись, пинцет в футляре и упаковка ватных дисков, из которой уже вынули половину. Она принесла всё это в кабинет, расставила на полу, постелила полотенце и велела Марку сесть на пол, потому что кресло было занято книгой, а стол завален.

— Сядь ровно. Голову чуть вперёд. Дыши ртом.

— Я дышу.

— Ты дышишь носом, из которого идёт кровь.

— Это привычка, — сказал Марк. — Я дышу носом, и он не всегда в курсе, что происходит.

Она села перед ним на колени, взяла ватный диск, налила хлоргексидина и стала промокать кровь вокруг носа. Он держал голову очень терпеливо, и в этой терпеливости было столько доверия, что Анастасия почувствовала себя неловко.

— Я тебе сделаю холодное, — сказала она. — Сейчас.

В морозилке лежал пакет замороженной клюквы, куплен-

ной в прошлом году для чего-то, что не случилось. Она высыпала горсть в полотенце, завязала узлом и приложила ему к переносице.

— Держи.

— Держу.

— Не так. Ниже. И не дави.

— Ты сейчас говоришь со мной как с пациентом.

— Ты сейчас и есть пациент.

Марк посмотрел на неё поверх полотенца с клюквой, и в этом взгляде было что-то, от чего Анастасия поспешно занялась дисками.

— У тебя руки дрожат, — сказал он.

— Это от холода.

— В комнате уже тепло.

— Это от тебя.

Она сказала это и тут же пожалела, потому что получилось двусмысленно, и он, конечно, услышал двусмысленность, но не стал её трогать. Вместо этого он сказал:

— Спасибо.

— За что?

— За то, что не начала говорить: «Какой ужас, я сейчас вызову скорую». Мне один раз вызвали. Я тогда снимал в каком-то дворе, упал с бордюра, и женщина из соседнего окна вызвала мне скорую, потому что я, по её мнению, умирал. Я не умирал. Я сидел и снимал голубя.

— Ты падаешь чаще, чем я думала.

— Я падаю ровно столько, сколько нужно, чтобы не зазнаваться. — Он поправил полотенце. — А тебе сколько лет было, когда ты поняла, что у тебя это?

Анастасия подняла на него глаза.

— Ты про что?

— Про это. — Он обвёл рукой кабинет: блюдце, проволоку, иней на окне, который уже почти сошёл. — Про то, чем ты занимаешься. Мне не надо рассказывать, как устроено. Мне надо знать, давно ли. Ты как моя персональная городская легенда.

Она долго молчала. Это был первый раз, когда он спросил прямо, и врать ему в лицо было бы легко, а не врать — страшно.

— Двадцать лет, — сказала она. — Мне было двадцать два, когда я впервые взяла в руки фотографию и увидела не фотографию.

— И что ты сделала?

— Испугалась и три дня никому не говорила. Потом нашла человека, который не испугался.

— Ирина.

— Ирина. — Анастасия промокнула ему скулу. — Ты запомнил.

— Я запоминаю всё, что про тебя. — Он сказал это очень буднично, как говорят про погоду. — Это профессиональное.

Она отняла диск, посмотрела на нос и поняла, что кровь

уже почти остановилась.

— Нос у тебя цел, — сказала она. — Но перелом может быть без смещения. Тебе надо в больницу.

— Мне надо в больницу, — согласился Марк. — Только я не поеду.

— Марк.

— Я не поеду, — сказал он спокойно. — Я знаю, как звучит сломанный нос, я его слышал трижды: первый раз в походе, второй раз у студента на практике, третий раз у себя, когда мне было тринадцать и я неудачно выяснял отношения. Если бы он был сломан, я бы знал.

— Ты не врач.

— Я не врач, — подтвердил он. — Но я человек, который трижды слышал, как звучит сломанный нос, и у меня есть основания думать, что четвёртый раз я бы тоже услышал.

— В травмпункте посмотрят.

— В травмпункте я просижу три часа. У меня завтра съёмка на рассвете, в шесть утра, в Серебряном Бору, и человек, с которым я договаривался, ловит рыбу только в это время, и он ждал меня месяц. — Марк положил полотенце с клюквой на колени. — Я поеду, если ты поедешь со мной и скажешь ему, что я не смог встать.

Анастасия смотрела на него и понимала, что он её переигрывает, и понимала, что переигрывает честно.

— Я записала тебя на субботу, — сказала она. — На четыре. После двух.

— В субботу я приду.

— С разбитым носом?

— Я приду с пластырем, — сказал Марк. — Это придаст мне в твоих глазах вес и мужественность.

Он поднялся с пола, держась за стол, и Анастасия поднялась за ним. Они оказались близко, ближе, чем требовалось, и на секунду в комнате стало так тихо, что стало слышно, как в гостиной идут часы.

Элиас, который всё это время стоял у окна, сложив руки, сделал маленький шаг вперёд.

— Нет, — сказала Анастасия вслух.

Марк посмотрел на неё.

— Что нет?

— Ничего. — Она отступила. — Это я себе.

Марк помолчал, потом надел куртку, подобрал с полу книгу, поставил её на стол и положил на неё пакет с конфетами, который принес к чаю.

— Конфеты забирай, подсласти этот день, — сказала Анастасия.

— Это твои конфеты.

— Тебе они нужнее.

— Они тебе нужны, — сказал он. — Но я возьму несколько, потому что мне приятно, остальные съешь с чаем и мыслями обо мне.

Он остановился в дверях и обернулся.

— Я не буду спрашивать, что это было, — сказал он. — С

кулоном, с холодом, с инеем. Я хочу спросить, но я вижу, что ты пока не готова. Я, знаешь ли, умею ждать: я одиннадцать лет собираю истории, которые мне никто не рассказывает.

— Марк.

— Что?

— Пластырь возьми. У меня в аптечке есть.

Он взял пластырь, посмотрел на него, как смотрят на неизвестный инструмент, и убрал в карман.

— В субботу в четыре, — сказал он. — И, кстати, я забыл спросить: у тебя дома есть лестница?

— Зачем?

— Мне кажется, мне надо перестать падать на ровном месте. — Он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Анастасия постояла в прихожей, слушая, как в саду шуршит гравий под его шагами, и только потом вернулась в кабинет.

Элиас стоял у окна и не пытался исчезнуть, что было с его стороны почти храбростью.

— Взбучка, — сказал он. — Я знаю. Я готов.

— Ты воспользовался половицей.

— Я не толкал его. Я посмотрел на пол.

— Ты воспользовался половицей.

— Я посмотрел на пол, — повторил Элиас. — А то, что мне удалось обратить твоё внимание на половину в комнате, так это заслуга по хозяйственной части. Ты сама сказала, что её надо заменить.

— Он разбил нос.

— Он разбил нос, — согласился Элиас, — и остался ночевать у тебя в памяти. Я вообще-то работал как положено: подложил стул, включил свет. А то, что стул оказался половицей, — это, дорогая, не моя вина, а твоя: у тебя в доме пол не в порядке уже двадцать лет.

Анастасия села на пол, потому что разговаривать с ним, стоя над кровью, было неприятно.

— Он мог сломать шею.

— Он не мог сломать шею, я стоял близко. — Элиас помолчал. — И, между нами, разбитый нос — не такая уж плохая валюта. Человек с разбитым носом возвращается, чтобы проверить, как его заклеили.

— Ты невыносим.

— Я хорош, — сказал Элиас. — Это не то же самое, но часто путают.

Она вымыла пол, собрала вату и порезанные диски в пакет, подняла скетчбук, у которого теперь был сломан корешок, и вложила вылетевший лист обратно.

На листе был переулок, завиток, и на этот раз кровь Марка тоже попала на бумагу: маленькая бурая капля села у самого края чёрной линии, и линия на этом краю стала толще, будто у неё появилось начало.

— Элиас, — сказала она.

— Вижу, — сказал он, и на этот раз в голосе у него не было ни капли представления.

— Первый артефакт у тебя есть, — сказал он потом, когда она уже выключила в кабинете свет. — Осталось понять, что ты будешь склеивать. И чем.

Анастасия поднялась на второй этаж, легла и ещё долго слышала, как в доме идут часы. На шее под свитером лежал кулон. Он был тёплый, потому что нагрелся от неё, и в его чернильной капле, если зажмуриться, можно было представить ровное биение кадров, которое она слышала сегодня впервые: один толчок, потом второй, потом третий.

Голос за кадром

Ночные сеансы Анастасия не любила, но держала их в расписании из уважения к географии.

География была устроена так, что человеку в Торонто удобно в семь вечера, а ей в это время удобно спать. Клиентку звали Даша, ей было двадцать девять, она работала в лаборатории и уже месяцев пять спрашивала у всех подряд, правильную ли она выбрала жизнь. Вопрос был сформулирован лучше, чем у большинства: «Я не спрашиваю, стоит ли мне всё бросить. Я спрашиваю, не поздно ли». Анастасия на такие вопросы отвечала одинаково: поздно бывает только на поезд, и то не всегда.

В час ночи она поставила на стол чашку, проверила, горит ли лампа слева, потому что свет в камере должен падать на лицо, а не на стену, и открыла ноутбук. Кулон она сняла и повесила на гвоздь у окна — из суеверия, которого сама стеснялась: ей казалось, что вещь, которая умеет пульсировать, не должна смотреть, как она работает.

Кадры через экран шли всегда хуже. Анастасия называла это «смотреть кино через марлю»: изображение есть, а тех мелочей, из которых складывается правда, в нём нет. Поэтому она просила клиентов рисовать от руки и показывать лист в камеру, и в девяти случаях из десяти это срабатывало.

В час ноль пять на экране появилась Даша, в свитере и с

чашкой, и сразу сказала:

— У меня сегодня был день, когда я всё поняла.

— Рассказывай, — сказала Анастасия. — Только лист приготовь.

— Я приготовила два.

Она положила перед камерой два листа. На первом был клубок линий, который никуда не вёл: линии шли вбок, упирались в край и возвращались. На втором — круг, из которого выходили три короткие ветки, и все три кончались точкой.

— Вот это я нарисовала вчера, — сказала Даша, показывая первый. — А это сегодня.

— Сегодня у тебя лучше.

— Почему?

— Потому что вчера ты рисовала, как будто тебя уже нет, а сегодня — как будто ты ещё выбираешь. — Анастасия придвинула ноутбук ближе. — Теперь положи ладонь на второй лист и подержи. Мне надо посмотреть.

Даша положила ладонь.

Анастасия смотрела на экран и ждала того, что всегда начиналось одинаково: тепло в подушечках пальцев, шевеление, картинка. Тепло пришло, шевеление пришло, а картинка не собралась.

Вместо кадра по экрану пошла полоса, как идёт помеха по старому телевизору, и на секунду Анастасия увидела Дашу не в свитере, а в белом халате, и не в комнате, а в длинном коридоре с лампой дневного света. Потом полоса прошла, и

снова была комната, свитер, чашка.

— Что? — спросила Даша, потому что, видимо, её лицо изменилось.

— Ничего, — сказала Анастасия. — Связь.

— У меня связь хорошая.

— У меня тоже. — Анастасия откинулась в кресле. — Ладно, давай по-другому. Расскажи, что было сегодня.

Даша рассказывала минут десять: про то, как она стояла в лаборатории, держала пробирку, и вдруг поняла, что ей не жалко. Не жалко ни опыта, ни диплома, ни людей. А потом, на улице, она увидела витрину с инструментами и простояла у неё двадцать минут, и это были лучшие двадцать минут за неделю. Анастасия слушала и уже понимала, что вариант с инструментами будет в кадре чёткий, а лаборатория расплывётся, и она даже знала, какими словами это сказать, и в этот момент в её наушнике кашлянули.

Кашлянули коротко, по-деловому, как кашляет человек, который сидит на совещании и хочет напомнить о себе.

Анастасия посмотрела на список участников. В звонке было двое.

— Ты что-то сказала? — спросила Даша.

— Нет.

— Мне показалось, у тебя там кто-то есть.

— Ты не первая, кто так думает, — сказала Анастасия. — Это мой дом. Он скрипит.

Она проговорила с Дашей ещё минут двадцать. Кадр со-

брался, но не так, как раньше: он шёл с той самой мелкой рябью, которую Анастасия уже знала, и в ряби проступили два варианта сразу. В первом Даша стояла в мастерской с инструментом в руках, и лицо у неё было такое, какое бывает у человека, который перестал себя уговаривать. Во втором она оставалась в лаборатории, и там было всё хорошо: чисто, спокойно, ровно, и в этом ровном было столько тоски, что Анастасия поморщилась.

— Ну что? — спросила Даша.

— Скажу так: твой вопрос про «поздно» — это не вопрос про возраст, — сказала Анастасия. — Это вопрос про разрешение. Тебе нужно, чтобы кто-то сказал, что можно.

— И?

— И я скажу: можно. Но кадр у тебя получится только тогда, когда ты перестанешь ждать, что кто-то ещё это подтвердит.

Даша помолчала.

— А вы всегда так отвечаете?

— Нет, — сказала Анастасия. — Обычно я отвечаю сложнее.

Она уже собиралась попрощаться, когда в наушнике зазвучал голос.

Он не был похож ни на чей. У Элиаса был низкий, насмешливый, чуть тёплый голос, у собеседника в наушнике не было ни насмешки, ни тепла: ровный, спокойный, отчётливый, как будто человек читал с листа, который ему самому

не нравится, но работа есть работа.

— Ты ведёшь линию не туда, — сказал он. — Ей не нужно разрешение. Ей нужен первый шаг, который не отменяется.

Анастасия замерла.

Голос говорил не ей в ухо и не в комнате — он говорил в самой «картинке», в том слое, где шли кадры, и это было хуже, чем если бы кто-то стоял за спиной.

— Мне нужно закончить, — сказала она Даше. — Связь сейчас упадёт.

— У тебя всё хорошо?

— У меня всё хорошо. Запиши первое, что ты сделаешь в мастерской. Не план. Первое действие.

Она закрыла ноутбук и сидела, держась за край стола.

— Элиас, — сказала она.

Тишина.

— Элиас.

— Я здесь, — сказал Элиас от окна. Он сидел на подоконнике, свесив ноги, и был очень серьёзен. — Я здесь, и я, кажется, только что услышал то же, что и ты.

Анастасия встала, подошла к окну и зачем-то потрогала гвоздь, на котором висел кулон. Стекло было холодное.

— Скажи мне, что это ты.

— Это не я.

— Скажи мне, что это была шутка. Что ты решил меня подбодрить, что тебе показалось, что мне нужен наставник.

— Мне не кажется, что тебе нужен наставник, — сказал

Элиас очень ровно. — Тебе нужен отдых и мужчина, который не падает. Наставник тебе не нужен.

— Значит, это не ты.

— Это не я. — Он спустился с подоконника. — И я тебе скажу больше: это не моё ведомство. Я знаю, как звучат мои коллеги, как звучат мои бывшие коллеги и как звучат те, кто работает по другой части. Этот голос не оттуда.

— А откуда?

— Из ниоткуда. — Элиас поморщился. — Вот это меня и беспокоит. У всего, что говорит, обычно есть место, из которого оно говорит. У этого места нет.

Анастасия села на подоконник, потому что стоять в два часа ночи было тяжело.

— Может, это моя интуиция? — сказала она. — Может, я наконец научилась разговаривать сама с собой нормально, без этих твоих загадок?

— Интуиция не кашляет.

— Может, это нервное.

— Нервное не даёт советов по монтажу. — Элиас остановился напротив. — Давай проверим. Ты сама это умеешь лучше меня: возьми вещь и посмотри.

— Сейчас?

— Сейчас. Я буду рядом и буду слушать. Если это существо хочет с тобой говорить, оно не станет ждать до утра.

Анастасия взяла со стола чашку. Чашка была её, она пила из неё кофе каждое утро и ничего интересного про неё не

знала. Кадр открылся сразу и пошёл ровно: кухня, утро, она сама стоит у плиты, в халате, растрёпанная, и смотрит в окно так, будто там кто-то есть.

Голос появился на третьей секунде.

— Ты стоишь в кадре, — сказал он. — Поэтому тебя и задевает. Оператор не стоит в кадре.

Анастасия отняла руку от чашки, но кадр не погас: он висел в комнате, как висели иногда после сильных сеансов, тонким слоем поверх настоящего.

— Ты слышал? — спросила она.

— Слышал. — Элиас смотрел на неё очень внимательно. — И, к сожалению, он прав.

— В чём?

— В том, что ты стоишь в кадре. — Он показал на висящий слой. — Посмотри, как ты смотришь. Ты всегда внутри. Ты входишь в комнату, встаёшь рядом с человеком, и кадр идёт вокруг тебя, поэтому его и задувает. А надо смотреть из проекционной.

Анастасия знала это слово. В детстве отец водил её в кинотеатр, где на втором этаже была маленькая комната с двумя окошками, и она однажды спросила, зачем эти окошки, и ей ответили: «Отсюда показывают». С тех пор прошло больше тридцати лет, и слово всплыло оттуда, из того коридора, где пахло пылью и нагретым целлулоидом.

— Из проекционной, — повторила она.

— Попробуй. — Элиас отошёл к двери. — Смотри не от

себя, а на себя. Не туда, где ты стоишь, а оттуда, откуда на тебя смотрят.

Анастасия снова взяла чашку.

И на этот раз не вошла в кадр. Она сделала то, чего не делала двадцать лет: представила, что сидит в маленькой комнате с двумя окошками и что кадр идёт не вокруг неё, а в окне, на белой стене, а она всего лишь человек, который смотрит.

Кадр встал.

Он не дрожал. Он был не ярче и не четче, чем обычно, но в нём появилась та самая штука, которой ей последние недели не хватало: у него было начало и был конец, и оба конца держались.

— Ну? — спросил Элиас.

— Держит, — сказала Анастасия.

— То есть он научил тебя за две минуты тому, на что я потратил пять лет.

— Ты не учил меня этому.

— Я намекал, — сказал Элиас с достоинством. — Намёки — моя профессия.

Она поставила чашку и посмотрела на него.

— Элиас, мне это не нравится. Я не люблю, когда меня учат. Особенно те, кого я не звала в учителя.

— Нет в этом ничего страшного, — заметил Элиас. — считай это провидением, божьим промыслом.

— Кто он?

— Я не знаю. — Элиас сказал это без всякого актёрства. — И пока не знаю, я не могу сказать тебе, слушать его или нет. Одно я могу сказать точно: он не хочет, чтобы ты рассыпалась. Он хочет, чтобы ты держалась.

— Это разве плохо?

— Это может быть плохо, — сказал Элиас. — Если человек хочет, чтобы ты держалась, сначала спроси, за что он собирается тебя держать.

Анастасия взяла кулон с гвоздя, надела его на шею и села в кресло.

— Хорошо, — сказала она вслух. — Я тебя слушаю. Но разговаривать мы будем по моим правилам.

Она не знала, услышит ли «он». Он услышал.

— Хорошо, — сказал голос. — Твои правила.

— Первое: ты не говоришь со мной, когда я с клиентом.

— Согласен.

— Второе: ты не говоришь со мной, когда я сплю.

— Ты не спишь.

— Это сейчас. Третье: ты представляешься.

Пауза была короткой, но она была.

— У меня нет имени, которое тебе что-то скажет.

— Тогда скажи, что ты за сущность.

— Я тот, кто смотрит, как ты работаешь.

— Это не ответ.

— Это честный ответ. — Голос говорил ровно, без раздражения. — Ты хочешь, чтобы я назвался человеком, но я

не человек. Ты хочешь, чтобы я назвался ангелом, но я не ангел. Я то, что остаётся, когда сценарий уже написан, а тот, кто его пишет, ещё не решил. Незнакомец.

Анастасия посмотрела на Элиаса. Элиас стоял у книжной полки и делал вид, что разглядывает корешки, но уши у него были повёрнуты в её сторону с той старательностью, которая у бесплотных существ выдаёт волнение.

— Зачем ты мне помогаешь? — спросила она.

— Потому что ты начала, а не закончила. — Голос сделал паузу, будто подбирал слова, которые не обидят. — Ты умеешь смотреть. Ты не умеешь собирать. Ты склеиваешь два кадра и думаешь, что это монтаж.

— А это не монтаж?

— Это склейка. Монтаж — это когда из склеенного получается смысл, которого не было ни в одном куске.

Анастасия медленно кивнула. Она не хотела соглашаться, но в этом было что-то, чего ей не хватало всё это время, и она не могла понять, что именно: то ли мысль, то ли уверенность, с которой её говорили.

— И что мне делать? — спросила она.

— Собирать, — сказал голос. — У тебя есть одно стекло, и оно хорошее, но оно твоё. Тебе нужны вещи, которые старше тебя и которые уже держали сцены. Их делали до тебя. Они умеют больше, чем твоя проволока.

— Где их искать?

— Там, где люди долго верили в одно и то же. — Голос

говорил так, будто диктовал адрес. — В местах, где камень клали не для того, чтобы он стоял, а для того, чтобы он помнил. В мастерских, где делают одно и то же сто лет. В домах, куда приходят не за товаром, а за ответом.

— Это очень красиво, — сказала Анастасия. — И совершенно бесполезно.

— Это не бесполезно, — сказал голос. — Ты просто хочешь, чтобы я сказал: поезжай в такой-то город, зайди в такой-то дом. Я не скажу. Если я скажу, ты поедешь за адресом, а не за вещью. А вещь надо искать тем, чем ты ищешь.

Анастасия усмехнулась.

— Ты уверен, что не ангел?

— Нет, — сказал голос. — Я уверен только в том, что тебе нужны артефакты, а тебе сейчас не хватает одного человека, который знает, где они лежат.

— И кто это?

— Ты его знаешь, — сказал голос и замолчал.

Тишина в комнате стала такой отчётливой, что стало слышно, как в гостиной часы переходят на новую минуту.

— Он ушёл? — спросила Анастасия.

— Он ушёл, — сказал Элиас. — И я тебе скажу, что мне это не нравится ещё больше, чем раньше.

— Почему?

— Потому что он тебе не соврал ни в одном слове. — Элиас отошёл от полки и сел напротив. — А это хуже всего. Существа, которые врут, понятны: они хотят чего-то, чего у них

нет. А этот говорит правду и при этом ведёт тебя куда-то. Значит, ему нужно не то, что он говорит.

— Может, он хочет, чтобы я стала лучше.

— Может, — сказал Элиас. — Только «лучше» — это тоже направление. Знаешь, куда ведёт направление «лучше»? Оно ведёт туда, где кто-то другой решил, какой ты должна быть.

Анастасия сняла кулон и положила его на стол.

— Элиас, — сказала она. — Что происходит с моим даром?

Он помолчал, и по тому, как он помолчал, она поняла, что ответ ему не нравится.

— Твой дар перестал быть твоим, — сказал он. — Он стал каналом. Каналы бывают двух видов: те, по которым идёт то, что ты посылаешь, и те, по которым идёт то, что посылают тебе. Ты двадцать лет работала первым способом. Последние две недели в твоём канале кто-то копается.

— Кто-то копается, — повторила Анастасия.

— Кто-то подключается к твоему потоку видений. — Элиас смотрел ей прямо в глаза. — И я не знаю, что он делает. Он может помогать. Он может чинить. А может перемонтировать будущее так, чтобы оно стало удобным ему.

— Перемонтировать будущее.

— Да. — Элиас не улыбнулся. — Из тех же кусков. Только с другой задачей.

Анастасия откинулась в кресле и посмотрела в потолок.

— То есть у меня теперь ещё и незваные консультанты, — сказала она.

Спать она легла в четыре и проснулась в десять с ощущением, что в голове у неё провели уборку и забыли расставить мебель.

Суббота началась с клиентки, которая пришла к полудню с фотографией дачи, доставшейся ей от бабушки, и вопросом, продавать или оставить. Анастасия слушала её, кивала и всё это время думала о том, что сегодня в четыре у неё в доме будет человек с разбитым носом и что она об этом думает больше, чем следует.

Потом клиентка положила на стол фотографию, и Анастасия вспомнила про новый способ.

Она не вошла в кадр. Она села прямо, сложила руки на коленях и представила маленькую комнату с двумя окошками, в которой пахнет пылью и нагретой плёнкой. И посмотрела на кадр оттуда.

Это было неприятно, как первый раз в очках: всё резче, всё ближе, у глаз непривычно. Но кадр стоял. Дача развернулась в целую сцену: крыльцо, веранда со стеклом, за которым стояли банки, стол под клеёнкой, и по этому столу шла жизнь — чай, варенье, чьи-то руки, чьи-то локти, чей-то смех за кадром. Анастасия видела, как в этом доме сначала было много людей, потом мало, потом снова много, а потом опять мало, и всякий раз, когда становилось мало, кто-то подходил к окну и смотрел в сад.

— Ну? — спросила клиентка.

— Не продавай, — сказала Анастасия.

— Почему?

— Потому что там окно, у которого все останавливаются. — Она пододвинула фотографию обратно. — У вас в роду это место было распределителем. Кто бы ни приезжал, он вставал у этого окна и что-то решал. Если вы её продадите, вы продадите не дом. Вы продадите канал.

Клиентка ушла в половине второго, унося фотографию, записанный на карточке план и то выражение лица, с каким люди уходят, когда им сказали не то, что они ждали, но именно то, что было нужно.

Анастасия вымыла чашки и села на кухне.

— Ну, — сказала она. — Я его послушала. Что скажешь?

— Скажу, что метод рабочий, — ответил Элиас, который сидел на табуретке и болтал ногой. — И скажу, что мне это не нравится, потому что это гениально. Я не понимаю в чем подвох.

— Ты это уже говорил.

— Я буду говорить это до тех пор, пока не пойму, чего он хочет. — Элиас перестал болтать ногой. — Давай по-другому. Ты собираешь артефакты. Ты ищешь места, где камень клали, чтобы он помнил. Скажи мне, кто в твоей жизни знает такие места.

Анастасия задумалась.

— Ирина, — сказала она. — Ирина ищет предметы ста-

рины. Это её хобби. Она двадцать лет ездит по деревням и знает, где что лежит, лучше, чем некоторые музеи.

— Хорошо. Ирина. — Элиас кивнул. — И кто ещё?

— Марк.

— Марк.

— Марк одиннадцать лет ходит по городам и записывает легенды. Он знает, где люди верят в одно и то же сто лет. Он, собственно, этим и живёт. — Анастасия помолчала. — Он знает Балканы, Тбилиси, Лиссабон. Он знает, где искать.

— Вот, — сказал Элиас. — И теперь скажи мне, что ты чувствуешь, когда произносишь его имя в этом контексте.

— Ничего.

— Ты только что назвала вслух человека, который может тебе помочь, и у тебя изменилось лицо.

— У меня не изменилось лицо.

— У тебя изменилось лицо, — сказал Элиас с удовольствием. — Это, между прочим, не моя работа. Это твоя физиология, и я тут ни при чём.

Анастасия встала и налила себе воды.

— Я не собираюсь втягивать его в это.

— Почему?

— Потому что это моё. — Она поставила стакан. — Потому что я двадцать лет справлялась сама, и мне не нужно, чтобы человек с фотоаппаратом ходил за мной по городам и снимал, как я разговариваю с камнями.

— А если ему это интересно?

— Ему интересны легенды. А я не легенда.

— Ты уверена? — спросил Элиас. — Он тебе вчера сказал, что ты — его персональная городская легенда. И, судя по твоему лицу, ты это запомнила.

Анастасия посмотрела на часы. Без десяти четыре.

— Мне надо переодеться, — сказала она.

— Вот это уже разговор, — сказал Элиас. — Платье?

— Свитер.

— Свитер — это тоже позиция, — согласился он. — Но платье было бы честнее.

Она переоделась в свитер. Потом постояла перед шкафом, вернулась и достала второй свитер, серый, потому что первый был слишком домашним, а второй был просто домашним. Потом подумала, что думает об этом слишком долго, и спустилась вниз.

Кулон она надела. Пластырь из аптечки переложила на видное место в ящике кухонного стола, чтобы не искать.

Ровно в четыре у калитки раздался стук.

Анастасия открыла дверь и увидела Марка с пластырем на переносице, с рюкзаком и с выражением человека, который очень старается не выглядеть так, как он выглядит.

— Я пришёл, — сообщил он. — Нос на месте. Пластырь на мне. Я, честно говоря, впервые в жизни ношу пластырь на лице, и у меня ощущение, что я всем вокруг сообщаю что-то лишнее.

— Проходи, — сказала Анастасия. — И ничего ты не со-

общаешь. Люди в основном заняты собой.

— Это ты так утешаешь?

— Это я так говорю правду. Пойдём в сад, там ещё можно сидеть.

В саду пахло мокрой землёй и поздними яблоками, и комары, которые в сентябре уже должны были угомониться, из чистого упрямства летали вокруг стола. Анастасия накрыла, как накрывала всегда: чайник, две чашки, конфеты, оставшиеся от прошлого визита, и печенье из жестянки.

— Ты сама их не ешь, — сказал Марк, посмотрев на конфеты.

— Я их берегу для гостей.

— Ты их берёшь для гостей. — Он развернул одну. — Это разные вещи, и разница в том, что гость приходит, а конфеты лежат.

Они сидели под яблоней, и пластырь на его переносице был виден в свете, который падал из окна кухни. Анастасия смотрела на него и понимала, что ей хочется спросить, больно ли ему, и что этот вопрос будет первым за двадцать лет, который она задаст не из вежливости.

— Больно? — спросила она.

— Нет. — Марк потрогал пластырь. — Утром было неприятно, а теперь просто неудобно. Я его чувствую, когда хмурюсь, и это меня дисциплинирует.

— Ты не хмуришься.

— Это не значит, что я не пытаюсь.

Они помолчали. В саду кто-то прошёл по гравию за забором, и Марк обернулся на звук, как оборачивается человек, у которого профессиональная привычка слышать всё.

— Скажи, — начала Анастасия и остановилась, потому что слова, которые она приготовила, звучали как вопрос из интервью.

— Скажу, — согласился Марк. — Только ты сначала скажи.

— Ты бывал в местах, где люди долго верят в одно и то же?

Он посмотрел на неё внимательно и не стал спрашивать, зачем.

— Я в таких местах только и бывал, — сказал он. — В других мне неинтересно.

— Мне надо понять, как их искать. Не для книги.

— А для чего?

— Пока не могу сказать.

Марк кивнул, отломил печенье и задумался с той обстоятельностью, с какой он, наверное, думал и над своими легендами.

— Есть признак, — сказал он наконец. — Один, но я его проверял много лет. В таких местах всегда есть предмет, который пережил всех. Не памятник, не церковь, не то, что охраняет государство. Что-то мелкое, что стоит на виду и что все трогают. Ручка двери. Кромка прилавка. Камешек под иконой. В Тбилиси, например, во дворе на Абанотной есть часы на стене, которые чинят уже лет сорок, и их по очереди

запускают все, кто мимо идёт. В Лиссабоне есть лавка, где торгуют только пуговицами, и хозяин помнит, какая пуговица откуда пришла. На Балканах я знал дом, где на пороге лежал камень, и его не могли перевернуть четыреста лет, потому что считалось, что если перевернуть, дом кончится.

— И что с этим делают? — спросила Анастасия.

— Ничего. Это не товар. — Марк посмотрел на неё. — Это место, где время оставило след, и люди этот след держат, сами не зная зачем. Ты не можешь прийти и купить камень с порога. Ты можешь прийти и понять, что тебе его дадут, если ты пришёл не за камнем.

Анастасия молчала.

— Ты сейчас что-то поняла, — сказал Марк.

— Я поняла, что ты прав, — сказала она. — И что мне надо ехать.

— Куда?

— Пока не знаю. — Она посмотрела на чашку. — Но ты сейчас описал всё, что я ищу, и описал лучше, чем я сама себе это объясняла.

Марк отставил чашку и полез в рюкзак.

— У меня есть штука, — сказал он. — Только не смейся, потому что все смеются. Я вожу её с собой двенадцатый год.

Он вынул маленький свёрток из тряпки. В свёртке лежала глиняная плитка размером с ладонь, обломок, с двумя буквами на боку, выдавленными, наверное, до обжига. Одна буква была стёрта до половины, вторая сохранилась.

— Это с фасада на одной окраине, в Тбилиси, — сказал Марк. — Дом, который разобрали. Я утром пришёл и увидел, что рабочие уже снимают изразцы, и попросил. Мне дали. Сказали: «Забирай, всё равно всё выкинем».

Анастасия протянула руку, и он положил плитку на её ладонь.

Кадр начался сразу, и на этот раз ей не пришлось ничего делать: ни входить, ни выходить, ни искать проекционную. Она просто стояла, и вокруг стоял двор: брусчатка, тополь, натянутая между деревьями верёвка с бельём, и женщина у стены, которая ставила на подоконник две банки. Кадр шёл ровно, минуты две, без единого сбоя, и за две минуты она увидела, как этот двор живёт, как он спорит, как в нём рождаются и как умирают, и как на фасаде со временем выветриваются буквы, кроме двух.

Она убрала руку и посмотрела на плитку.

— Что? — спросил Марк.

— Ничего, — сказала Анастасия. — Просто она работает.

— Что работает?

— Плитка. — Она положила обломок на стол. — Она держит. У меня последнее время всё рассыпается, а она держит.

Марк смотрел на неё через стол, и в его лице не было ни испуга, ни восторга, а только то спокойное внимание, с каким он смотрел на тени.

— Хорошо, — сказал он. — Значит, нам надо ехать.

— Нам?

— Нам, — повторил он. — Я знаю эти места, а ты знаешь, что с ними делать. И, если ты собираешься отправиться за ними одна, я всё равно поеду, только тогда я буду ехать сзади и делать вид, что я просто турист.

Анастасия засмеялась и почувствовала, что в горле у неё тепло, как бывает от чая, который выпили слишком быстро.

— Я не собираюсь никуда ехать, — сказала она. — Я не сказала, что собираюсь.

— А вот это уже интересно, — сказал голос Незнакомца.

Он прозвучал очень отчётливо, между её словами и ответом Марка, и Анастасия вздрогнула так, что чашка звякнула о блюдце.

— Ты чего? — спросил Марк.

— Ничего. — Она посмотрела на него. — Мне показалось, что чай горячий.

— Он давно не горячий.

— Значит, показалось.

Голос молчал секунду и добавил, прежде чем исчезнуть:

— Он подходит.

Марк тем временем взял плитку, завернул её в тряпку и убрал обратно в рюкзак.

— Оставишь? — спросила Анастасия.

— Нет. — Он завязал рюкзак. — Это моя вещь, я её двенадцать лет вожу. Я тебе найду другую.

— Где?

— Там, где люди долго верят в одно и то же, — сказал

Марк, и в его голосе было столько спокойной уверенности, что Анастасия поняла: он и правда поедет. — Вопрос только, куда сначала. И у меня есть предложение.

Он поставил рюкзак на пол и посмотрел на неё.

— Но сначала ты мне скажешь, что ты сегодня сделала с чашкой и почему у тебя на шее стекло, которое пахнет чернилами.

Анастасия посмотрела на кулон, потом на Марка.

— Стекло пахнет чернилами, потому что это чернила, — сказала она. — Я его сделала сама. Вчера же обсуждали мое творчество. Из двух стёкол от карманных часов и плёнки, которую сняла с чернил.

— Что-то припоминаю. Стекло, которое потеет. Зачем он тебе в итоге?

— Чтобы кадры не рассыпались.

Марк кивнул так, будто она сказала что-то совершенно обыкновенное, вроде «чтобы не протекал кран».

— А чашка?

— А чашка — это долгая история. — Анастасия взяла её в руки. — И в ней есть часть, которую я пока не могу рассказать. Не потому, что не доверяю. Потому что сама ещё не знаю, как её рассказывать.

Он помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы она успела пожалеть о своих словах.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда я подожду.

— Ты в прошлый раз тоже так сказал.

— Я в прошлый раз тоже так сказал, — согласился Марк. — И я не передумал. Это, между прочим, редкое свойство: сказать, что подождёшь, и потом действительно ждать.

Он достал из рюкзака блокнот и раскрыл его на чистой странице.

— Смотри. Если мы едем, нам нужен первый адрес. Я предлагаю Тбилиси, потому что там есть двор, в котором до сих пор живёт плитка, которую я тебе показывал, и потому что я там знаю людей. Но есть ещё Балканы: там в одном месте на пороге лежит камень, и его нельзя переворачивать. И Лиссабон: там лавка с пуговицами, и хозяин, по-моему, знает больше, чем говорит.

— Ты говоришь так, будто мы уже собрались.

— Я говорю так, будто мы можем собраться. Это разные вещи, но разница в один разговор.

Он нарисовал на странице три кривые, как тогда, на конверте, и подписал их коротко, печатными буквами.

— Я принесу тебе варианты. С расписанием, ценами и тем, что я знаю о каждом месте. Ты посмотришь и скажешь.

— А если я скажу, что никуда не поеду?

— Тогда я поеду сам и буду присылать тебе открытки. — Марк вырвал листок и положил его на стол. — Только я тебе скажу, что ты поедешь. Я видел, как ты держала эту плитку. Ты держала её не как вещь. Ты держала её как руку.

Анастасия смотрела на листок с тремя кривыми и чувствовала, что в ней что-то сдвинулось и встало на место, как

встаёт половица, которую наконец прибили.

— Марк.

— Да?

— Спасибо, что не спросил.

— Я спросил, — сказал он. — Я просто остановился на первом ответе.

Он ушёл в начале восьмого, когда в саду стало совсем темно и комары всё-таки угомонились. Анастасия проводила его до калитки и постояла, слушая, как гравий шуршит под его шагами.

— Ну, — сказала она, вернувшись в дом.

— Что «ну», — отозвался Элиас с подоконника. — Я всё слышал. Я вообще всё слышу, это часть работы.

— Голос сказал, что он подходит.

— Я слышал.

— Тебе не кажется это странным?

— Мне кажется это очень странным, — сказал Элиас. — Сначала неведомый голос учит тебя монтажу, потом говорит тебе собирать вещи в чужих городах, потом одобряет человека, с которым ты сидишь за одним столом. Знаешь, что это мне напоминает?

— Что?

— Что кто-то составляет тебе программу. — Элиас помолчал. — И, что хуже всего, программа хорошая.

Анастасия села на стул и посмотрела на листок с тремя кривыми.

— Я всё равно туда поеду, — сказала она. — Но сначала мне надо поговорить с Ириной.

— Правильно, — сказал Элиас. — Ирине ты нужна целой.

Она достала телефон, долго искала номер, хотя номер был в избранном, и нажала вызов.

Трубку взяли после третьего гудка.

— Это ты? — спросила Ирина.

— Я.

На другом конце была тишина, в которой слышалось, как Ирина перекладывает что-то на столе.

— Приезжай, — сказала она наконец. — В понедельник. У меня до обеда время.

— Я не сказала, зачем.

— Приезжай, — повторила Ирина и повесила трубку.

Правила монтажа

В понедельник Анастасия проснулась в семь и полчаса просидела на кухне, глядя, как за окном накрапывает дождь, который в сентябре уже не считается дождём, а считается погодой.

Ирина жила на другом конце города, в старом доме с высокими потолками и лепниной, которую никто не реставрировал лет тридцать. Ехать было полтора часа с пересадкой, и Анастасия выехала в девять, чтобы не опоздать, и всё равно опоздала на десять минут, потому что у метро кто-то продавал грибы и она остановилась посмотреть, что за грибы.

Дверь ей открыли сразу, будто за ней следили в глазок.

— Опоздала, — сказала Ирина вместо приветствия.

— На десять минут.

— Ты никогда не опаздывала. — Ирина отступила, пропуская её в прихожую. — Значит, или ты не хотела ехать, или у метро торговали чем-то, что тебе показалось важнее меня.

— Грибами.

— Тогда проходи. — Ирина повесила её куртку на плечики и поставила на полку ровно, как ставят в музее табличку. — Грибы в сентябре — это серьёзно.

Квартира была не заставлена, а населена. Вдоль стен стояли стеллажи, на стеллажах коробки, на коробках подписи, сделанные одной и той же рукой, и между коробками лежа-

ли вещи, у каждой из которых была бирка на ниточке: «Ивановы, 1912», «Сергиев Посад, дом сгорел», «часы, ходят, но врут». На стене висела карта, вся в булавках, и булавки были трёх цветов.

На столе уже стоял чайник и две чашки, и это было хуже всего: Ирина ждала.

— Садись, — сказала она. — И сразу говори, с чем пришла.

Анастасия села.

— Мне нужен совет.

— Это я поняла по звонку. — Ирина села напротив и положила руки на стол. — Я тебя двадцать лет знаю. Ты звонишь не тогда, когда тебе нужен совет. Ты звонишь тогда, когда уже сделала по-своему и хочешь, чтобы я это одобрила.

— Это неправда.

— Это правда, и мы обе это знаем. — Ирина налила чай. — Поэтому я скажу тебе сразу, чтобы не тратить утро. Если ты пришла с вопросом «а можно ли всё сразу», ответ — нет.

Анастасия взяла чашку и подержала её в руках.

— Я пришла не с этим.

— А с чем?

— У меня в канале кто-то есть.

Ирина поставила чайник. Поставила она его очень аккуратно, без стука, и от этой аккуратности в комнате стало тише.

— С этого места подробнее.

Анастасия рассказала. Про голос в наушнике, про совет смотреть из проекционной, про то, что кадры перестали рассыпаться, про то, что голос сказал: «Он подходит». Она старалась рассказывать по порядку, как рассказывают случай на приёме у врача, и только к середине поняла, что говорит быстрее, чем нужно, и что Ирина слушает её так, как слушают человека, который ещё не сказал главного.

— Всё, — закончила она.

Ирина молчала долго. Потом взяла свою чашку, посмотрела в неё, будто в чае можно было что-то прочесть, и поставила обратно.

— Хорошо, что ты приехала, — сказала она.

— Почему?

— Потому что если бы ты не приехала, я бы узнала об этом через полгода, когда ты уже была бы в чём-нибудь, из чего трудно выйти. — Ирина откинулась на спинку. — Теперь говори, что ты об этом думаешь.

— Я думаю, что он помогает.

— Это не мысли. Это наблюдение.

— Я думаю, что он реально помогает, и меня это пугает.

— Вот. — Ирина кивнула. — Это уже мысли. И они правильные: когда тебе кто-то помогает, всегда надо спрашивать, зачем. Особенно если он не берёт денег.

Анастасия почувствовала, что краснеет, хотя краснеть было не с чего.

— Я хочу понять, что это за явление. Ты такое встречала?

— Встречала, — сказала Ирина. — И не один раз. И каждый раз это заканчивалось одинаково: человек получал совет, совет работал, а потом оказывалось, что совет был маленькой частью большого замысла, и человек в этом замысле был не заказчиком.

— Кто заказывает?

— Разные. — Ирина смотрела на неё прямо. — Ты хочешь имя. У меня нет имени. У меня есть правило: если в твоём канале кто-то есть и он не представляется, ты не работаешь с ним. Ни советов, ни подсказок, ни благодарности.

— А если он единственный, кто помогает?

— Значит, ты обойдёшься без помощи. — Ирина пододвинула к ней вазочку с печеньем, будто это могло смягчить. — Не обижайся, но ты приехала за разрешением слушать его дальше. Разрешения не будет.

Анастасия поставила чашку на стол.

— Хорошо. Тогда объясни мне, почему. Я двадцать лет работаю, и всё это время ты меня учила, что дар — это инструмент. Инструмент можно улучшать. Мне предложили улучшение.

— Тебе предложили улучшение без объяснения, от кого оно и зачем. — Ирина не повысила голос, но в её голосе появилась та твёрдость, которой Анастасия в юности боялась больше, чем крика. — Ты когда-нибудь видела, чтобы тебе дали инструмент и не сказали, чей он?

— Ты мне дала.

— Я тебе дала свой. И я тебе сказала, что он мой, что я за него отвечаю и что если ты им что-нибудь сломаешь, отвечать будем обе. — Ирина подняла палец. — А этот твой голос не отвечает ни за что. Он советует и уходит. Это называется не помощь, это называется консультация.

— Мне сейчас важнее результат, чем отношения с консультантом.

— А вот это, — сказала Ирина, — самое опасное, что ты можешь сказать.

Она встала, подошла к стеллажу и достала коробку с подписью «часы, ходят, но врут».

— Смотри сюда. — Она поставила коробку на стол и открыла. Внутри лежали часы: мужские, в потёртом корпусе, с треснувшим стеклом. — Это часы одного человека. Он их потерял, а потом нашёл, и они с тех пор врут на двадцать минут. Он мне их оставил, когда уезжал. Я хочу, чтобы ты мне сказала, что с ними было.

Анастасия протянула руку.

— Не так, — сказала Ирина. — Ты сейчас возьмёшь и увидишь три, четыре, пять вариантов. Ты всегда видишь много. Я хочу, чтобы ты выбрала один и сказала, почему именно его.

— Как я могу выбрать, если я не знаю, какой из них правда?

— А ты и не узнаешь, какой правда. — Ирина села напротив. — Ты узнаешь, какой из них ты выбираешь. Это разные

вещи, и ты их все время путаешь.

Анастасия взяла часы.

Кадр открылся сразу. Она увидела стол, на столе бумаги, мужчину в свитере, который что-то писал, и рядом женщину, которая стояла у окна и не оборачивалась. Потом стол сменился другим столом, и мужчина был уже старше, и женщина была другая, а за окном шёл снег. Потом кадр дёрнулся, и она увидела тот же корпус часов в чужих руках, и чужой палец вёл по трещине на стекле. Потом ещё, и ещё, и она почувствовала, как затылок начинает ломить от того, что все эти сцены идут одновременно, и каждая тянет на себя.

— Ну? — спросила Ирина.

— Я не знаю, — сказала Анастасия. — Их слишком много.

— Их не слишком много. — Ирина встала и забрала у неё часы. — Ты просто не хочешь выбирать.

— Я не могу выбрать, потому что я не знаю, что из этого правда.

— А зачем тебе знать, какая правда? — Ирина положила часы в коробку. — Ты работаешь не с прошлым. Ты работаешь с человеком, который приходит к тебе сейчас и у которого в прошлом что-то болит. Тебе не нужна правда. Тебе нужна та сцена, в которой он узнает свою боль. Это про него, понимаешь? А не про твою правду.

— Это же манипуляция.

— Это ремесло. — Ирина закрыла коробку. — Манипу-

ляция — это когда ты выбираешь сцену, чтобы человек сделал то, что нужно тебе. Через твои паттерны. Ремесло — когда ты выбираешь сцену, чтобы человек увидел то, что ему нужно. Разница в том, кто в итоге платит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.